



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

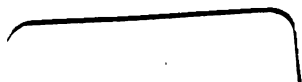
Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>





ИДЕАЛЫ ПУШКИНА

АКТОВАЯ РѢЧЬ

В. В. НИКОЛЬСКАГО

съ приложѣніемъ статей того же автора «Жобаръ
и Пушкинъ» и «Дантесъ-Гекеренъ»

ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ,

ИСПРАВЛЕННОЕ И ДОПОЛНЕННОЕ ЗАМѢТКОЮ ТОГОЖЕ АВТОРА

„Къ библіографіи Евгенія Онѣгина“



С.-ПЕТЕРБУРГЪ
Типографія А. С. Суворина. Зртелевъ пер., 13
1899



Доволено цензурою 28 августа 1899 г. С.-Петербургъ.



ПРЕДИСЛОВІЕ КЪ ЧЕТВЕРТОМУ ИЗДАНІЮ.

Третье изданіе начало поступать въ продажу съ 7-го мая, а къ 1-му іюня у издателя не оставалось уже ни одного свободного экземпляра и продолжающійся спросъ на «Идеалы Пушкина» побудилъ къ немедленному выпуску въ свѣтъ настоящаго четвертаго изданія.

Въ виду столь краткаго промежутка времени издателю удалось внести не всѣ тѣ новыя усовершенствованія, которыя оказались необходимыми.

Во всякомъ случаѣ, сравнительно съ третьимъ—четвертое изданіе дополнено замѣткою В. В. Никольскаго «Къ библіографіи Евгенія Онѣгина» (первоначально появилась въ «Россійской Библіографіи» 1881 г., № 95 (19), 15 октября, стр. 409—410).

Въ замѣтку «Жобаръ и Пушкинъ» внесена позабытая въ 3-мъ изданіи поправка къ

стихамъ Жобара, помѣщенная первоначально въ «Русской Старинѣ» 1880 г., т. 28, стр. 816.

Вмѣсто двѣнадцати, рѣчь разбита на четырнадцать частей, изъ которыхъ каждой дано особое заглавіе. Примѣчанія размѣщены въ болѣе цѣлесообразномъ порядкѣ и одно изъ нихъ перенесено въ текстъ настоящаго предисловія. Немногія оставшіяся глухія цитаты снабжены точными ссылками.

Относительно выписокъ и ссылокъ принять во вниманіе первый томъ академическаго изданія Пушкина и всѣ появившіяся къ пушкинскому юбилею новыя изданія цитируемыхъ статей и книгъ.

Всѣ выдержки изъ сочиненій Пушкина приводятся по изданію литературнаго фонда, 7 т. т., Спб. 1887, и въ ссылкахъ указывается римскою цифрою томъ, а арабскою—страница. Въ ссылкахъ на академическое изданіе томъ обозначается буквой А и арабскою цифрою.

Б. Никольскій.

10 іюня 1899 г.
С.-Петербургъ.

ПРЕДИСЛОВІЕ КЪ ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНІЮ.

Предлагаемая здѣсь въ третьемъ изданіи рѣчь объ идеалахъ Пушкина была первоначально произнесена В. В. Никольскимъ на торжественномъ актѣ въ С.-Петербургской Духовной Академіи въ 1881 году и затѣмъ напечатана въ № 3—4 журнала »Христіанское Чтеніе« за 1882 г., стр. 487—537. Одновременно она вышла въ свѣтъ особою брошюрою, 53 стр. in 8°, Спб. 1882.

Къ пятидесятилѣтію со дня смерти Пушкина появилось ея второе изданіе, Спб. 1887, 55 стр. in 8°, перепечатанное съ перваго безо всякихъ перемѣнъ.

Въ настоящее время и это изданіе распродано и въ удовлетвореніе не прекращающемуся спросу выпускается настоящее, третье изданіе, по возможности усовершенствованное въ типографскомъ отношеніи и съ тщательно пересмотрѣннымъ правописаніемъ. Для большей наглядности текстъ рѣчи разбитъ на XII главъ. Ко всѣмъ ссылкамъ прибавлены точныя указанія тома и страницы по лучшимъ новымъ изданіямъ, съ которыми согласованъ и текстъ самыхъ выписокъ. Въ остальномъ рѣчь перепечатывается безъ какихъ либо измѣненій и до-

полнительныхъ примѣчаній издателя (кромѣ двухъ только случаевъ, стр. 30 и III, гдѣ въ интересахъ читателей потребовались объясненія), такъ какъ добытыя за послѣдніе годы новыя свѣдѣнія требуютъ лишь мелкихъ оговорокъ и поправокъ, въ цѣломъ отнюдь не подрывающихъ основныхъ воззрѣній автора.

Въ видѣ приложенія въ концѣ брошюры помѣщены обѣ другія, появившіяся въ печати, замѣтки того же автора, касающіяся Пушкина, — «Жобаръ и Пушкинъ» (первоначально появилась въ «Русской Старинѣ» 1880 г., т. 28, стр. 555—564) и «Дантесъ-Гекеренъ» (первоначально появилась въ «Русской Старинѣ» 1880 г., т. 29, стр. 426—431 и 458). Въ первой изъ нихъ тщательно пересмотрѣны съ цѣлью достиженія возможной близости къ подлинникамъ переводы письма Пушкина и письма Жобара и прибавленъ сдѣланный издателемъ переводъ французскихъ стиховъ Жобара, такъ какъ они являются не столько переводомъ, сколько подражаніемъ Пушкину. Въ приложеніи ко второй замѣткѣ перепечатано и снабжено русскимъ переводомъ издателя стихотвореніе Гюго, относящееся къ Гекерену.

Б. Никольскій.

26 апрѣля 1899 г.
С.-Петербургъ.

ПРЕДИСЛОВІЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНІЮ.

Авторъ перепечатаваемой здѣсь статьи, покойный профессоръ Императорскаго Александровскаго Лицея, С.-Петербургской Духовной Академіи и Женскихъ Педагогическихъ Курсовъ, В. В. Никольскій, былъ горячимъ поклонникомъ и глубокимъ знаткомъ Пушкина; но многочисленныя занятія позволяли ему лишь изрѣдка дѣлиться съ обществомъ результатами своихъ изслѣдованій.

За годъ со своей смерти († 15-го марта 1883 г.) онъ задумалъ основать Пушкинское общество по образцу заграничныхъ Шекспировскихъ обществъ; но съ тяжкою болѣзнью, постигшею Владиміра Васильевича, которая и свела его въ могилу, распалось образованное было имъ ядро Пушкинскаго общества.

Въ бумагахъ покойнаго профессора найдены различные черновые матеріалы, касающіеся Пушкина и его эпохи. Въ числѣ этихъ матеріаловъ обращаетъ на себя вниманіе набросокъ изслѣдованія о «Мѣдномъ Всадникѣ», устанавливающій совершенно новую точку зрѣнія на это замѣчательное произведеніе великаго поэта.

Смерть застигла Владиміра Васильевича за новою біографическою работою о Пушкинѣ, для которой онъ изучалъ переписку поэта.

Энергичному почину и неутомимой дѣятельности В. В. Никольскаго обязана своимъ существованіемъ прекрасная Пушкинская бібліотека, собранная Императорскимъ Александровскимъ Лицеємъ.

ИДЕАЛЫ ПУШКИНА

I.

Состояніе критической оцѣнки Пушкина
въ 1881 году.

Скоро исполнится пятьдесятъ лѣтъ со смерти Пушкина. Слава, такъ шумно встрѣтившая его при самомъ первомъ появленіи на литературномъ поприщѣ, утвердилось и возрасла до небывалыхъ въ Россіи размѣровъ. Московскія торжества 1880 года, при открытіи памятника Пушкину, показали, какъ глубоко проникли въ общественное сознание уваженіе и любовь къ великому народному поэту.

Если о зрѣлости народа можно судить по его уваженію къ своимъ историческимъ дѣятелямъ, то, конечно, пушкинскіе дни въ Москвѣ свидѣтельствовали о великихъ успѣхахъ нашего самосознанія. Но если взглянуть на то же самое событіе со спокойной

и безпристрастной точки зрѣнія, то оно представится уже не въ столь радужныхъ краскахъ. Прежде всего нельзя не замѣтить, что, какъ ни много было говорено и писано о Пушкинѣ въ то время, однако же все сказанное и написанное служило гораздо болѣе выраженіемъ чувства, нежели ясной и опредѣленной мысли. Такое настроеніе объясняется отчасти самымъ характеромъ праздника; но вмѣстѣ съ тѣмъ оно свидѣтельствуетъ и о томъ, что въ обществѣ, очевидно, еще не выработалось и не установилось такого понятія о Пушкинѣ, которое бы само собою высказалось, какъ общесознанное убѣжденіе. И если мы оглянемся назадъ въ исторію нашей литературы, то должны будемъ сознаться, что для изученія Пушкина у насъ сдѣлано слишкомъ мало, если только что нибудь сдѣлано. Конечно, внѣшнія обстоятельства имѣли при этомъ немаловажное значеніе. Хотя въ настоящее время въ печати появилось почти все, что написано Пушкинымъ, заисключеніемъ двухъ-трехъ произведеній, появленіе которыхъ было бы и нежелательно, но несомнѣнно, что въ черновыхъ рукописяхъ поэта еще таятся матеріалы, важные для его характеристики и оцѣнки. Біографическія свѣдѣнія только въ

последнее время достигли такой полноты, при которой сдѣлался возможнымъ послѣдовательный и связный очеркъ его жизни; но и здѣсь еще остаются чувствительные пробѣлы и темныя мѣста¹⁾). При всемъ томъ мы не видимъ даже и попытокъ уяснить содержаніе поэзіи Пушкина, опредѣлить ея характеръ, направленіе и значеніе.

Одна только сторона разъяснена съ исчерпывающею полнотою: сторона художественная или эстетическая. И это совершенно понятно: художественное достоинство произведеній Пушкина составляетъ такой яркій, выдающійся ихъ признакъ, что, конечно, именно съ этой стороны Пушкинъ прежде всего и могъ, и долженъ былъ быть принятъ и понятъ. Но эстетическое изученіе не можетъ быть полно уже по самой своей односторонности. Если, благодаря «живой

¹⁾ Сочиненія Анненкова, не смотря на запутанность и темноту изложенія, иногда умышленную, составляютъ единственныя книги въ нашей литературѣ, по которымъ можно изучать Пушкина. Матеріалы, публикуемые въ «Русскомъ Архивѣ» г. Бартечевымъ, драгоцѣнны сами по себѣ, но отсутствіе описанія рукописей, изъ которыхъ они заимствуются, и совершенный произволъ въ выборѣ публикуемыхъ безо всякихъ признаковъ плана и системы отрывковъ дѣлаютъ невозможнымъ правильное пользованіе этими матеріалами.

прелести» стиховъ Пушкина¹⁾), они стали дѣйствительно знакомы каждому грамотному русскому, то нельзя не спросить съ другой стороны, какое же содержаніе, какія понятія, стремленія и чувства вносятъ эти стихи въ общее сознаніе? Ограничивая воспитательное значеніе Пушкина только одною художественною стороною, придемъ неизбежно къ отрицанію всякаго другого значенія Пушкина, какъ мы и видѣли тому примѣръ въ нашей литературѣ²⁾). Къ тому же самое признаніе Пушкина народнымъ поэтомъ,— а это признаніе уже утвердилось въ общемъ мнѣніи,— не позволитъ ограничиться эстетическимъ опредѣленіемъ, потому что нельзя же художественность счесть отличительнымъ признакомъ нашей народности. Напротивъ, самый этотъ признакъ народности заставляетъ предполагать извѣстную сумму идей, свойственныхъ русскому народу

1) Выраженіе Жуковского въ стихотвореніи Пушкина «Я памятникъ себѣ воздигъ нерукотворный» (II, 189—190 и примѣчаніе).

2) Мы разумѣемъ статьи Писарева. При всей несправедливости ихъ по отношенію къ Пушкину онѣ имѣли однако же то значеніе, что обнаружили противорѣчія и несостоятельность эстетическаго воззрѣнія и показали дальнѣйшую невозможность смотрѣть на Пушкина глазами Бѣлинскаго.

и отличающихъ его, какъ историческую личность, отъ всѣхъ другихъ народовъ.

Намъ кажется, наступило время собрать въ одинъ цѣльный образъ разбросанныя черты пушкинскаго міросозерцанія и сдѣлать попытку, на первый разъ можетъ быть и не выполнѣ счастливую, опредѣлить идеальное содержаніе поэзіи Пушкина.

II.

Биографическое значеніе Пушкинскаго творчества.

Ставя своею задачей уяснить идеалы Пушкина на основаніи его произведеній, мы предварительно должны показать, въ какомъ отношеніи находились созданія Пушкина къ его личности: были ли они только игрой его поэтической фантазіи, произведеніями художественнаго генія, не выражавшими никакихъ личныхъ убѣжденій поэта, какъ полагала эстетическая критика,—или же, напротивъ того, они были выраженіемъ личной жизни автора, чувствъ, дѣйствительно имъ пережитыхъ, мыслей, дѣйствительно имъ передуманныхъ? Въ послѣднемъ случаѣ, который мы, конечно, единственно и прини-

маемъ, прежде, чѣмъ перейти къ изображенію идеаловъ поэта, намъ необходимо предварительно разсмотрѣть, въ чемъ состояла особенность поэтического дарованія Пушкина и какимъ образомъ это дарованіе относилось къ событіямъ дѣйствительной его жизни. Драгоцѣнные, хотя все еще далеко не полные, матеріалы Анненкова¹⁾ даютъ возможность рѣшить этотъ вопросъ безъ особаго затрудненія.

«Поэзія бываетъ исключительно страстію немногихъ, родившихся поэтами: она объемлетъ и поглощаетъ всѣ наблюденія, всѣ усилія, всѣ впечатлѣнія ихъ жизни» (V, 28). Эти слова Пушкина въ высшей мѣрѣ прилагаются къ нему самому. И, чтобы понять всю ихъ силу, надо послушать, что говоритъ самъ Пушкинъ объ источникахъ и дѣйствіяхъ своей поэзіи. «Наперсница волшебной

¹⁾ «А. С. Пушкинъ. Матеріалы для его біографіи и оцѣнки произведеній». П. В. Анненкова. Спб. 1873. Сначала были помѣщены въ I томѣ сочиненій Пушкина, изд. Анненкова, но безъ раздѣленія на главы. Въ дальнѣйшемъ сокращенно цитируются «Матеріалы» по отдѣльному (второму) изданію. Второе сочиненіе Анненкова—«А. С. Пушкинъ въ александровскую эпоху (1799—1826гг.)» Спб. 1874—представляетъ опытъ болѣе связнаго изложенія біографіи Пушкина въ указанныхъ предѣлахъ. Наши ссылки приводятся подъ сокращеннымъ заглавіемъ «Пушкинъ».

старины», еще качая его дѣтскую колыбель, «плѣнила» его «юный слухъ» своими напѣвами

И межъ пеленъ оставила свирѣль,
Которую сама заворожила (I, 246):

Въ тѣ дни, когда въ садахъ лица
Я безмятежно расцвѣталъ, —
Въ тѣ дни, въ таинственныхъ долинахъ,
Весной, при кликахъ лебединыхъ,
Близъ водъ сіявшихъ, въ тишинѣ,
Являться Муза стала мнѣ (III, 380).

Съ этихъ поръ она сопровождала его во всю жизнь: шла за нимъ на «безумные пиры юности», скакала съ нимъ на конѣ по скаламъ Кавказа, водила по берегамъ Тавриды слушать шумъ морской,

Глубокой, вѣчный хоръ валовъ,
Хвалебный гимнъ Отцу міровъ (III, 283),

«въ глуши Молдавіи печальной» посѣщала «смиранные шатры племенъ бродящихъ», въ его саду «являлась барышней уѣздной», съ нимъ ходила на «свѣтскій раутъ» (III, 383—384) и, наконецъ, «послушная Божію велѣнію» (II, 190), поддерживала его въ послѣдніе дни его жизни.

Не одни воспоминанія о вѣчно сопутствующей отъ колыбели до могилы Музѣ оста-

вилъ намъ Пушкинъ; онъ описалъ намъ и
ея бесѣды съ нимъ. Вотъ онъ въ лицейской
«кельѣ» (А1, 15; 149) № 14:

Главою на руку склоненъ,
Въ забвеніи глубокомъ,
Онъ въ сладки думы погруженъ
На ложѣ одинокомъ.
Съ волшебной ночи темнотой,
При мѣсячномъ сіяньи,
Слетаютъ рѣзвою толпой
Крылатыя мечтанья
И тихій, тихій льется гласъ,
Дрожать златыя струны,—
Въ глухой, безмолвный мрака часъ
Поетъ мечтатель юный (А1, 159).

Но наконецъ онъ заснулъ. Напрасно, — и
во снѣ онъ видитъ стихи:

Пускай Глицерія, красавица младая...

снится ему. Что «пускай»? Нѣтъ ни начала,
ни конца... Ничего: на утро онъ найдетъ
и то, и другое, и создастъ стихотвореніе
«Лицинію» (А1, 115; прим. стр. 123), по
силѣ стиха, по важности содержанія, по
строгой точности выраженія—почти невѣ-
роятное для пятнадцатилѣтняго юноши. Онъ
садится къ своей чернильницѣ:

Перо по книжкѣ бродить,—
Безъ всякаго труда

Оно въ тебѣ находить
 Концы моихъ стиховъ
 И вѣрность выраженья,
 То—звукѣ или словъ
 Нежданное стеченье,
 То—ѣдкой шутки соль,
 То—странность риемы новой,
 Неслыханной дотоль (I, 244).

Вотъ какъ изображаетъ онъ свое творчество въ позднѣйшую эпоху:

Все волновало нѣжный умъ:
 Цвѣтущій лугъ, луны блистанье,
 Въ часовнѣ ветхой—бури шумъ,
 Старушки чудное преданье.
 Какой-то демонъ обладалъ
 Моими играми, досугомъ,
 За мной повсюду онъ леталъ,
 Мнѣ звуки дивныя шепталъ—
 И тяжкимъ, пламеннымъ недугомъ
 Была полна моя глава,
 Въ ней грезы чудныя рождались,
 Въ разнѣры стройныя стекались
 Мои послушныя слова
 И звонкой риемой замыкались.
 Въ гармоніи соперникъ мой
 Былъ шумъ лѣсовъ, иль вихорь буйный,
 Иль иволги напѣвъ живой,
 Иль ночью моря гулъ глухой,
 Иль шопоть рѣчи тихоструйной (I, 310).

А вотъ еще картина изъ другого, болѣе поздняго, времени:

И пробуждается поэзія во мнѣ,
 Душа стѣсняется лирическимъ волненіемъ,
 Трепещеть, и звучить, и ищетъ, какъ во снѣ,
 Излиться наконецъ свободнымъ проявленіемъ.
 И тутъ ко мнѣ идетъ незримый рой гостей,—
 Знакомцы давніе, плоды мечты моей.
 И мысли въ головѣ волнуются въ отвагѣ,
 И риомы легкія навстрѣчу имъ бѣгутъ,
 И пальцы просятся къ перу, перо къ бумагѣ,
 Минута—и стихи свободно потекутъ (II, 104—105).

Понятно, что, при такой силѣ поэтической дарованія, каждое событіе, каждое впечатлѣніе, каждое движеніе чувства неминуемо облекалось у Пушкина въ поэтический образъ. Тщательныя, кропотливыя изысканія показали, что у Пушкина, за исключеніемъ развѣ самыхъ первыхъ его опытовъ, нѣтъ стихотворенія, нѣтъ образа, нѣтъ даже отдѣльной черты въ образѣ, которая бы не имѣла своего основанія въ дѣйствительности. Мы не станемъ приводить длиннаго ряда доказательствъ. Ограничимся однимъ, но самымъ убѣдительнымъ, примѣромъ того, какъ отражались въ поэзіи Пушкина его душевныя движенія. Вотъ что рассказываетъ Анненковъ: «Описаніе красоты Маріи (въ «Полтавѣ» — III, 109) стоило, какъ видно, нѣкоторыхъ усилій Пушкину. Пушкинъ маралъ свои стихи, возвращался

къ нимъ и снова замѣнялъ ихъ другими. Какъ будто удивленный этою досадной остановкою на одномъ лицѣ, онъ вдругъ покидаетъ его и подъ стихами о Маріи начинаетъ писать совсѣмъ другое:

Риома, звучная подруга
Вдохновеннаго досуга,
Вдохновеннаго труда,
Ахъ, ужель ты улетѣла,
Измѣнила навсегда?
Твой привычный звучный лепетъ
Усмирялъ сердечный трепетъ,
Усыплялъ мою печаль;
Ты ласкалась, ты манила
И отъ міра уводила
Въ очарованную даль.
Ты, бывало, мнѣ внимала,
За мечтой моей бѣжала
Какъ послушное дитя;
То — свободна и ревнива,
• Своенравна и лѣнива,
Съ нею спорила, шутя (II, 58)...

Такъ-то справедливы были его жалобы на не-
покорность риомы», замѣчаетъ Анненковъ ¹⁾.
Да, прибавимъ мы отъ себя, поэтъ имѣлъ
право сказать:

Вѣдь риомы за просто со мной живутъ:
Двѣ придуть сами, третью приведутъ (III, 153).

¹⁾ Анненковъ, «Матеріалы», стр. 195—197.

Послѣ этого, мы считаемъ себя въ правѣ сказать, что поэзія Пушкина имѣетъ несомнѣнное біографическое значеніе, что въ ней онъ выражалъ свои дѣйствительные помыслы, надежды, стремленія и идеалы.

III.

Искренность и скрытность поэта.

Но здѣсь мы должны сдѣлать два существенно важныхъ замѣчанія. Никогда Пушкинъ не оставлялъ своихъ произведеній въ той первоначальной формѣ, въ которой зарождались они подъ непосредственнымъ дѣйствіемъ впечатлѣнія. Напротивъ, долгое время обрабатывая, перерабатывая свои созданія, онъ сглаживалъ съ нихъ, такъ сказать, эту теплоту дѣйствительности до тѣхъ поръ, пока все частное, личное, случайное не растворялось въ той поэтической всеобщности, въ которой оно переставало быть событіемъ чьей либо единоличной жизни и дѣлалось фактомъ общечеловѣческаго бытія. Къ этому мы должны прибавить еще одну черту чрезвычайной важности. Это, такъ сказать, обратно пропорціональное отношеніе между поэтическимъ выраженіемъ впе-

чатлѣнія и нравственнымъ его значеніемъ. Внѣшнее, случайное — легко переносится въ поэтическое произведеніе. Довольно мелькнуть въ умѣ шуточному вопросу о Тарквиніи—и «Графъ Нулинъ» готовъ въ два утра (V, 194). Но чѣмъ глубже дѣло касается внутренней жизни поэта, тѣмъ дольше вынашивается образъ въ его душѣ, тѣмъ больше онъ измѣняется въ обработкѣ, тѣмъ больше удаляется отъ дѣйствительнаго событія.

Изъ множества образовъ, которые проходили черезъ воображеніе поэта, изъ множества страстей, волновавшихъ его сердце и такъ или иначе отозвавшихся въ его поэзіи, въ его жизни было одно несомнѣнно глубокое и истинное чувство. Оно вызвало цѣлый рядъ произведеній, которыя неоспоримо должно назвать вѣнцомъ пушкинской лирики. И между тѣмъ только усиленнымъ трудамъ біографовъ и комментаторовъ удалось отыскать ихъ жизненную основу. Достойно замѣчанія, какъ Пушкинъ сглаживалъ со своихъ произведеній эти жизненные черты. Элегія «Подъ небомъ голубымъ страны своей родной» (II, 2) первоначально начиналась такъ:

Подъ небомъ сладостнымъ Италіи своей;

В. В. НИКОЛЬСКИЙ.

но географическое имя и указаніе, съ нимъ связанное, слишкомъ прямо указывали на лицо, вызвавшее стихотвореніе, — и Пушкинъ измѣняетъ его редакцію. Еще любопытнѣе передѣлка въ стихотвореніи:

Для береговъ *отчизны* дальней
Ты покидала край *чужой* (II, 119),

которое до поправки читалось:

Для береговъ *чужбины* дальней
Ты покидала край *родной* (II, 119).

Для насъ имѣетъ особенную цѣну одинъ вариантъ. Когда тягость жизни стала особенно чувствительна для Пушкина и въ самый день его рожденія выразилась грустнымъ стихотвореніемъ «Даръ напрасный, даръ случайный» (II, 38), высокопреосвященный Филаретъ, который высоко цѣнилъ и талантъ, и лицо Пушкина, отвѣтилъ ему стихотвореніемъ, которое какъ нельзя болѣе подходило и къ собственному образу мыслей Пушкина. Пораженный этимъ трогательнымъ знакомъ участія и вниманія, Пушкинъ отвѣчалъ въ свою очередь стансами «Въ часы забавъ иль празднои скуки» (II, 58). Послѣдняя строфа этого стихотворенія читалась:

Твоимъ огнемъ душа *сокрыта*,
 Отвергла блескъ земныхъ суетъ
 И внемлетъ арфѣ *Филарета*
 Въ священномъ ужасѣ поэтъ,

но слишкомъ прямое указаніе на дѣйствительность заставило Пушкина укрыть истинное значеніе стихотворенія и дать ему характеръ чисто поэтического образа:

Твоимъ огнемъ душа *палима*,
 Отвергла блескъ земныхъ суетъ
 И внемлетъ арфѣ *серафима*
 Въ священномъ ужасѣ поэтъ.

И причина этихъ передѣлокъ заключается вовсе не въ художественныхъ требованіяхъ, а въ глубокомъ нравственномъ чувствѣ поэта. Если бы мы захотѣли опредѣлить самую сокровенную сущность души поэта, мы назвали бы ее цѣломудріемъ. Отсюда замѣшательство, робость, застѣнчивость, неловкость тамъ, гдѣ Пушкинъ долженъ былъ выразить свое истинное чувство: вспомнимъ его бѣгство передъ Державинимъ, его неловкость передъ Гончаровой и множество подобныхъ анекдотовъ. Пушкинъ зналъ это свойство своей природы и не только старался таить въ себѣ свои лучшія свойства, такъ что, чѣмъ святѣе для него было чув-

ство, тѣмъ меньше онъ его высказывалъ, но еще, какъ разъ напротивъ, всячески старался отречься отъ этого чувства, даже осмѣять его, лишь бы не приписали его ему, и наоборотъ охотно и добровольно бралъ на себя всякіе пороки, и попреимуществу тѣ, которые были противоположны затаеннымъ въ немъ добродѣтелямъ. Это добровольное, какъ выразился одинъ изъ біографовъ ¹⁾, «юродство» поэта еще болѣе запутывало сужденія о немъ. «Въ немъ не было ни внѣшней, ни внутренней религіи, ни высшихъ нравственныхъ чувствъ; онъ полагалъ даже какое-то хвастовство въ высшемъ цинизмѣ по этимъ предметамъ», отзывался о Пушкинѣ одинъ изъ его лицейскихъ товарищей. Впрочемъ, самъ суровый судья-товарищъ прибавляетъ къ приведенному отзыву слова: «я не сомнѣваюсь, что для ѣдкаго слова онъ иногда говорилъ даже болѣе и хуже, нежели думалъ и чувствовалъ» ²⁾.

Драгоцѣнное признаніе заключается въ одномъ анекдотѣ о Байронѣ, который Пушкинъ въ 1830 году напечаталъ въ Литера-

¹⁾ Бартеневъ, «Пушкинъ въ Южной Россіи». «Русскій Архивъ» 1866 г., стр. 1170.

²⁾ Анненковъ, «Пушкинъ», стр. 41 прим.

турной газетѣ. Анекдотъ состоитъ въ томъ, что Байронъ чрезвычайно дорожилъ крестомъ, который подарилъ ему одинъ монахъ въ Аѳинахъ, такъ что никогда съ нимъ не разставался. Но дѣло не въ анекдотѣ, а въ тѣхъ размышленіяхъ, которыми Пушкинъ его сопровождаетъ. «Душа человѣка», говоритъ Пушкинъ, «есть недоступное хранилище его помысловъ: если самъ онъ таитъ ихъ, то ни коварный глазъ непріязни, ни предупредительный взоръ дружбы не могутъ проникнуть въ сіе хранилище. И какъ судить о свойствахъ и образѣ мыслей человѣка по наружнымъ его дѣйствіямъ? Онъ можетъ по произволу надѣвать на себя притворную личину порочности, какъ и добродѣтели. Часто, по какому-либо своенравному убѣжденію ума своего, онъ можетъ выставлять на позоръ толпѣ не самую лучшую сторону своего нравственного бытія; часто можетъ бросать пыль въ глаза черни однѣми своими странностями». — «Видно изъ этого случая», прибавляетъ Пушкинъ, «что вѣра внутренняя перевѣшивала въ душѣ Байрона скептицизмъ, выказанный имъ мѣстами въ своихъ твореніяхъ. Можетъ быть даже, что скептицизмъ сей былъ только временнымъ своенравіемъ ума, иногда идущаго вопреки

убѣжденію внутреннему, вѣрѣ душевной»¹⁾. На эту статью нельзя иначе смотрѣть, какъ на публичное оправданіе самого Пушкина. Искренность его стоитъ внѣ всякаго сомнѣнія, но и желаніе высказаться объ этомъ передъ обществомъ также достойно замѣчанія и говорить много.

Зная это свойство, мы безъ большого затрудненія опредѣлимъ, чему вѣрить и чему не вѣрить въ Пушкинѣ. Мы считаемъ себя въ правѣ отбросить все то, что наиболѣе бросается въ глаза въ его жизни, и сколько можно внимательнѣе присматриваться къ тому, что, затаенное въ глубинѣ души, только украдкой сказывалось въ его интимныхъ сношеніяхъ.

IV.

Среда, идеалы и творчество.

Руководствуясь этими указаніями, мы можемъ теперь уже съ нѣкоторой увѣренностью приступить къ нашей задачѣ опредѣ-

¹⁾ Въ изданіи литературнаго фонда этотъ анекдотъ исключенъ (V, 263, прим.) въ виду того, что его принадлежность Пушкину не доказана. Въ изданіи Ефремова, М. 1880—1881, этотъ анекдотъ перепечатанъ т. V, стр. 118—120.

Примѣчаніе издателя.

ленія идеаловъ Пушкина. Разсматривая на основаніи всѣхъ извѣстныхъ данныхъ развитіе Пушкина, мы видимъ въ немъ два ясно разграниченныхъ періода, которые внѣшнимъ образомъ совпадаютъ съ границею двухъ царствованій. Различіе между этими двумя эпохами такъ существенно, что его можно бы объяснить какими-нибудь внѣшними обстоятельствами, произведшими рѣшительный переломъ въ настроеніи поэта, если бы несомнѣнные факты не говорили убѣдительно, что перемѣна въ Пушкинѣ совершалась постепенно, самостоятельнымъ и свободнымъ движеніемъ его мысли, и если бы извѣстные взгляды не предшествовали тѣмъ событіямъ, которыхъ вліянію ихъ можно бы приписать. Событія только пополняли и уясняли то, что уже проникло въ убѣжденія Пушкина, но еще не вполне опредѣлилось въ его сознаніи.

Правда, въ хронологіи событій мы не найдемъ той строгой послѣдовательности, какая представляется въ отвлеченіи, такъ что весьма нерѣдко мы встрѣтимся съ фактами, рѣзко другъ другу противорѣчащими и повидимому опровергающими наше построеніе. Это явленіе уже останавливало на себѣ вниманіе біографовъ Пушкина и приводило

ихъ къ мысли о двойственности его натуры, разрозненности, разорванности его личности ¹⁾. Но причина всѣхъ недоразумѣній заключается въ самыхъ свойствахъ пушкинскаго развитія. Оно шло чрезвычайно быстро и притомъ, если можно такъ выразиться, разомъ во всѣ стороны. Пушкинъ нерѣдко обгонялъ самого себя и, тогда какъ перо заносило на бумагу одинъ рядъ идей, дѣйствительныя мысли Пушкина были уже далеко впереди и вовсе не похожи на тѣ, которыя читались въ его произведеніяхъ. И наше изложеніе, слѣдя за прихотливыми изгибами широкаго и многовѣтвистаго русла, въ которомъ текла мысль Пушкина, по необходимости будетъ уклоняться отъ строгой хронологической послѣдовательности; но тѣмъ не менѣе мы постараемся сохранить во всей ясности основныя черты отдѣльных періодовъ.

Мы видѣли, какою могущественною, «демоническою», по выраженію самого Пушкина (I, 310), силою творчества былъ онъ одаренъ: какая же была потребна нравствен-

¹⁾ Анненковъ, «Матеріалы», стр. 395: «Не надо забывать, что изъ смѣшенія противоположностей состоитъ весь поэтическій обликъ Пушкина». Бартенева, «Русскій Архивъ» 1866 г., стр. 1169.

ная сила, чтобы обуздать и направить къ истиннымъ и высокимъ цѣлямъ это бурное дарованіе! Гдѣ же могъ Пушкинъ почерпнуть эту нравственную силу?

Прежде всего — не въ семьѣ. Напротивъ, семья дала Пушкину все, что только могло развратить въ корень и сгубить молодую душу. Поступая въ лицей одиннадцати лѣтъ, Пушкинъ уже зналъ наизусть всю французскую литературу, со всѣми вольнодумными, матеріалистическими и соблазнительными произведеніями, которыми было такъ богато восемнадцатое столѣтіе¹⁾. Неудивительно, что воспитатели Пушкина отзывались о немъ, какъ о юношѣ, въ сердцѣ котораго нѣтъ ни любви, ни религіи²⁾; неудивительно, что онъ долго носилъ на себѣ отпечатокъ семейнаго вліянія; но удивительно, что онъ сумѣлъ отъ него освободиться.

Школа, въ которую затѣмъ поступилъ Пушкинъ, по своему устройству, по выбору профессоровъ, представляла самое блестящее явленіе; но вмѣстѣ съ тѣмъ воспитательная сторона далеко не отвѣчала педагогическимъ требованіямъ. Первый директоръ лицея, Малиновскій, умеръ вскорѣ и

¹⁾ Анненковъ, «Матеріалы», стр. 12.

²⁾ Анненковъ, «Пушкинъ», стр. 41 прим.

до вступленія въ эту должность Энгельгардта лицей въ теченіе двухъ лѣтъ оставался безъ директора. Это время Пушкинъ называлъ временемъ безначалія (V, 2). Распущенность проникла въ нравы заведенія и Энгельгардту не сразу удалось водворить порядокъ.

Семнадцати-лѣтнимъ юношею Пушкинъ уже окончилъ курсъ, числился на государственной службѣ и неудержимо ринулся во всѣ удовольствія и увлеченія свѣтской жизни. Первая глава «Евгенія Онѣгина» рисуетъ несомнѣнно и портретъ, и образъ жизни самого Пушкина. Что же, кромѣ удовольствій, нашель Пушкинъ въ томъ обществѣ, въ которое теперь вступилъ?

Время Александра I-го было временемъ высшаго господства европеизма въ русской жизни. Восторженный поклонникъ запада, ученикъ республиканца Лагарпа, окруженный министрами, иногда неумѣвшими говорить по-русски, императоръ Александръ I въ самомъ началѣ своего царствованія сталъ во главѣ такъ называемаго либеральнаго движенія, стремившагося къ пересадкѣ на русскую почву западныхъ идей и учрежденій, несомнѣнно изящныхъ, благородныхъ и гуманныхъ, но не связанныхъ ни съ исторіей, ни съ устройствомъ, ни съ бытомъ, ни съ

задачами Россіи. Не трудно представить себѣ, какой безграничный просторъ получило распространеніе этихъ идей въ нашемъ обществѣ. Ихъ несогласіе съ русскою жизнью уже давало себя чувствовать довольно рѣзкими и жесткими противорѣчіями. Самъ императоръ Александръ вынужденъ былъ наконецъ остановиться передъ этими противорѣчіями. Но общество, и особенно молодежь, не могло остановиться такъ скоро и броженіе шло далѣе и далѣе, пока наконецъ не разразилось роковымъ кризисомъ 14-го декабря. Конечно, этотъ либеральный духъ, пронесившійся надъ моремъ русской жизни, волновалъ и пѣнилъ только ея поверхность, но именно въ ней то и плавалъ Пушкинъ -- и была ли какая-нибудь возможность для его чуткой и отзывчивой натуры не увлечься этимъ вихремъ и не повторить его отголосковъ въ своей поэзіи? И мы видимъ дѣйствительно, что Пушкинъ въ первыя десять лѣтъ своей дѣятельности (1814—1824) является отголоскомъ всѣхъ вѣяній, которыя проносятся надъ русскою жизнью. Мы разумѣемъ не то либеральное настроеніе, которое вызвало эти историческія строки:

Увижу ль я, друзья, народъ неугнетенный
И рабство, падшее на манію царя,
И надъ отечествомъ — свободы просвѣщенной
Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря? (I, 206);

увлеченіе либеральными идеями было силь-
нѣй и глубже и оставило рѣзкій слѣдъ въ
его произведеніяхъ. Пушкинъ даже мечталъ,
что его имя напишутъ «на обломкахъ само-
властья» (I, 190).

Но важнѣе, чѣмъ увлеченіе либеральными
идеями, было другое направленіе мысли, съ
которымъ дважды повстрѣчался Пушкинъ:
это было чистое невѣріе. Сначала оно яви-
лось предъ нимъ въ поэтическомъ образѣ
Демона (I, 292—293). Быть можетъ, въ немъ
есть черты какого-нибудь дѣйствительнаго
лица, но, какъ бы то ни было, этотъ образъ
на нѣкоторое время овладѣлъ душою Пуш-
кина и, хотя поэту «было грустно, тяжело,
больно»,

Но, одолѣвъ мой умъ въ борьбѣ,
Онъ сочеталъ меня невольно
Своей таинственной судьбѣ:
Я сталъ взирать его очами,
Съ его печальными рѣчами
Мои слова звучали въ ладъ (III, 252)...

А между тѣмъ впереди его ждало другое
искушеніе. Въ Одессѣ Пушкинъ встрѣтился

съ однимъ англичаниномъ (Гунчисонъ), «глухимъ философомъ», какъ выражается Пушкинъ (VII, 74), у котораго онъ бралъ уроки чистаго аѳеизма. «Система не столь утѣшительная, какъ обыкновенно думаютъ, но, къ несчастію, всего болѣе правдоподобная», говорилъ Пушкинъ въ одномъ частномъ письмѣ (VII, 74). Извѣстно, что эти самыя слова послужили поводомъ къ весьма тяжкому обвиненію Пушкина въ безбожіи, обвиненію, которое, какъ замѣчаетъ академикъ Я. К. Гротъ, къ удивленію и теперь еще нерѣдко повторяется людьми, серьезно не изучавшими Пушкина¹⁾. Но, вглядываясь внимательно въ отношенія Пушкина къ Гунчисону, который, замѣтимъ въ скобкахъ, пять лѣтъ спустя былъ уже ревностнымъ пасторомъ англійской церкви въ Лондонѣ²⁾, мы не можемъ думать, чтобы онъ произвелъ на Пушкина серьезное вліяніе. Въ письмѣ къ Казначееву, правителю канцеляріи графа Воронцова, письмѣ оффиціальномъ, но въ то же время крайне откровенномъ и рѣзкомъ, Пушкинъ прямо называетъ своего учителя прощальгой (galopin), а его уроки пло-

¹⁾ Гротъ, «Пушкинъ, его лицейскіе товарищи и наставники». Второе изданіе, Спб. 1899, стр. 108—109.

²⁾ Анненковъ, «Пушкинъ», стр. 261.

скою болтовнею (sa platitude et son baragoin) (II, 78). Вѣрнѣ всего эти отношенія можно опредѣлить пушкинскими же стихами къ князю Юсупову:

и скромно ты внималъ
За чашей медленной аею иль деисту,
Какъ любопытный схиоъ аѳинскому софисту (II, 92).

Такова была среда въ семьѣ, въ школѣ и въ обществѣ, въ которой пришлось вращаться и развиваться Пушкину. Чтò-жъ удивительнаго, что волны жизни обдавали его своими брызгами и что слѣды ихъ пѣны остались и на его произведеніяхъ? Гораздо важнѣе то, что, пройдя черезъ всѣ эти искушенія, отразивши на себѣ всѣ вѣянія вѣка, переболѣвши всѣми его недугами, переживши всѣ его пороки, Пушкинъ однако же сумѣлъ отъ нихъ освободиться и взлетѣть на такую нравственную высоту, на которую едва могли поднять свои взоры многіе изъ тѣхъ, слабости которыхъ раздѣлялъ Пушкинъ. Здѣсь уместно привести отзывъ о Пушкинѣ челоуѣка, который близко его зналъ и, хотя не всегда былъ ровень въ своихъ сужденіяхъ подъ вліяніемъ политическихъ страстей, но, на этотъ разъ, могъ говорить только истину: «Недостатки Пуш-

кина повидимому зависѣли отъ обстоятельствъ и общества, въ которомъ онъ вращался, но, что въ немъ было добраго, то проистекало изъ его собственнаго сердца»¹⁾).

Вотъ какъ изображаетъ Пушкинъ свою дѣятельность въ эту эпоху:

И я, въ законъ себѣ вмѣняя
 Страстей единый произволь,
 Съ толпою чувства раздѣляя,
 Я музу рѣзвую привелъ
 На шумъ пировъ и буйныхъ споровъ,
 Грозы полуночныхъ дозоровъ,—
 И къ нимъ въ безумные пиры
 Она несла свои дары
 И какъ вакханочка рѣвилась,
 За чашей пѣла для гостей,
 И молодежь минувшихъ дней
 За нею буйно волочилась,
 И я гордился межъ друзей
 Подругой вѣтреной моей (III, 382).

Но уже въ 1825 году Пушкинъ совершенно иначе относился къ этому произволу страстей.

¹⁾ Dzieła Adama Mickiewicza. Tom V, 279. Paryż, 1880. Къ сожалѣнію мы имѣемъ польскій переводъ этого некролога, написаннаго по-французски и появившагося въ газетѣ «Le Globe» № 1, 21 mai 1837, за подписью: Un ami de Puszkin. Вотъ польскій текстъ: Wady jego zdawali się zależeć od okoliczności i od społeczeństwa w jakim żył, ale co było dobrego w nim, z własnego jego pochodziło serca.

V.

Идеалы свободной страсти.

Пересмотримъ теперь художественные образы, созданные Пушкинымъ, начиная съ этой эпохи. Что между ними есть общія черты, генетическая связь, въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія и доказательствъ это не требуетъ. Но вотъ что достойно замѣчанія. Въ преемственности чертъ, принадлежащихъ этимъ образамъ, есть два неодинаковыхъ теченія, которыя сначала идутъ разрозненно, потомъ сближаются и наконецъ рѣшительно перемѣщаются, такъ что черты, первоначально стоявшія на дальнемъ планѣ, становятся первостепенными и господствующими. Несомнѣнно, что эти послѣднія черты и составляютъ истинную сущность его поэзіи, потому что составляютъ истинную сущность его собственной человеческой личности. Слѣдя за ихъ развитіемъ, мы по необходимости переступимъ хронологическія границы періодовъ; но мы уже говорили, что избѣжать этого нѣтъ возможности.

Наша критика до пресыщенія натолковалась о байронизмѣ Пушкина. Нѣкогда она

даже чуть не видѣла въ этомъ его достоинства, потомъ съ особенною любовію разоблачала всю слабость байронизма на русской почвѣ. Но, привыкши смотрѣть даже на русскую литературу западными или западническими глазами, она проглядѣла то обстоятельство, что въ этой слабости байронизма сказывалась наша сила, на этотъ разъ воплощенная въ Пушкинѣ. Что Байронъ имѣлъ вліяніе на Пушкина, это несомнѣнно, но если это вліяніе началось въ 1821 году, то уже въ 1824 году Пушкинъ торжественно съ нимъ распрощался. Прибавимъ къ этому, что это вліяніе было исключительно литературное и нисколько не коснулось образа мыслей, а тѣмъ болѣе убѣжденій Пушкина. Итакъ, критика все свое вниманіе устремляла на байроническіе образы. Кавказскій плѣнникъ, Разбойникъ, Гирей, Алеко, Евгенийъ Онѣгинъ первыхъ главъ, — вотъ образы, надъ которыми она истощала свои силы, то возвышая ихъ поэтическое достоинство, то разоблачая ихъ нравственное ничтожество. Но она проглядѣла, что рядомъ съ этимъ у Пушкина идетъ другой рядъ фигуръ, въ которыхъ сказываются черты уже не совсѣмъ байроническія.

Оставимъ въ покоѣ Кавказскаго плѣнника, съ его знаніемъ «свѣта и людей», съ его вѣрою въ «идолъ свободы», съ его «бурною жизнью», съ его «грознымъ страданьемъ», съ его «увядшимъ сердцемъ». Наша критика не оставила мѣста для новыхъ замѣчаній о несостоятельности этого характера. Но вотъ черкешенка узнаетъ его грубый обманъ. Онъ любитъ другую...

О чемъ же я еще тоскую?

О чемъ уныніе мое? (II, 295),

спрашиваетъ она — и рѣшаетъ вопросъ съ поразительною правдою сердца, съ высокимъ нравственнымъ чувствомъ:

Ты любишь другую?

Найди ее, люби ее!

Прости,—любви благословенья

Съ тобой будутъ каждый часъ (II, 295).

«Струистый кругъ» «въ водахъ плеснувшихъ» одинъ скажетъ намъ, чѣмъ разрѣшилось самоотверженіе черкешенки, не устоявшей передъ бурей страсти; но съ какимъ возвышеннымъ благородствомъ является эта страсть и какъ низокъ передъ ея нравственностью чувственный эгоизмъ Плѣнника, который спокойно удаляется подъ охрану казачьихъ пикетовъ, принося имъ въ драго-

цѣнный подарокъ свое ничтожество! Невольно является вопросъ: развѣ это черкешенка? Не сказать ли скорѣе, что это настоящая русская женщина, для которой права другого сердца дороже ея собственнаго счастья?

Не менѣе излюбленъ нашею критикой образъ Алеко въ «Цыганахъ». Говорить о немъ мы избавлены отъ необходимости. Но не можемъ не обратить вниманія на другой величавый образъ, который въ нашихъ глазахъ заслоняетъ и Алеко, и Земфиру, какъ ни много потрачено силъ на ихъ изображеніе и объясненіе,—образъ старика цыгана. Алеко—герой. Онъ уже не мечтатель, какъ Плѣнникъ, онъ дѣятель: не даромъ «его преслѣдуетъ законъ» (II, 348). Но онъ не простой преступникъ: онъ вступилъ въ борьбу съ закономъ, протестуя во имя свободы. Изъ этого же протеста онъ хочетъ быть цыганомъ, пользоваться ихъ вольностью. Но что такое свобода безъ закона? Или та нравственная высота, на которой уже дѣйствительно человѣку законъ не лежитъ, или необузданный эгоизмъ страстей. Алеко представитель послѣдняго. Онъ забылъ, что отрицаніе закона необходимо есть отрицаніе правъ, обязанности,—и заговорилъ о своихъ правахъ, о мщеніи, о казни...

Тогда старикъ, приближась, рекъ:
 «Оставь насъ, гордый человекъ!
 Ты не рожденъ для дикой доли,
 Ты для себя лишь хочешь воли» (II, 363).

Допустимъ, что Алеко созданъ подъ вліяніемъ Байрона; но подъ какимъ же вліяніемъ созданъ старикъ цыганъ? Ужъ конечно не въ бессарабскихъ степяхъ и не въ таборахъ встрѣтилъ его Пушкинъ. Очевидно, такого цыгана въ дѣйствительности не существуетъ, — да и идеаль-то это не цыганскій. Но въ томъ-то и дѣло, что это идеаль пушкинскій и что онъ, какъ черкешенка, есть созданіе нравственной природы самого Пушкина, есть выраженіе его собственнаго понятія о свободѣ, и что этимъ созданіемъ Пушкинъ еще рѣзче осудилъ байроническій идеаль.

Между «Плѣнникомъ» и «Цыганами» были созданы «Братья Разбойники» и «Бахчисарайскій Фонтанъ». «Братья Разбойники» — отрывокъ. Какая идея руководила здѣсь Пушкинымъ, было бы трудно опредѣлить, если бы посмертное изданіе не дало ея заключительной строфы. Къ сожалѣнію, остается неизвѣстнымъ, когда написано это заключеніе; но должно думать, что оно современно поэмѣ и ни въ какомъ случаѣ не позже

24 года. Въ высшей степени поучительно, что въ немъ есть два стиха, такъ сказать, параллельныхъ съ «Цыганами». Изображая душевное состояніе своего героя въ цыганской жизни, Пушкинъ говоритъ о его прежнихъ страстяхъ:

Давно-ль, на долго-ль усмирѣли?
Онѣ проснутся: погоди! (II, 351),

а «Братьевъ Разбойниковъ» онъ заключаетъ стихами:

Въ ихъ сердцахъ дремлетъ совѣсть:
Она проснется въ черный день (II, 308).

Итакъ, кто же долженъ проснуться? Страсти или совѣсть? За кѣмъ обязательно нравственное торжество? За произволомъ ли страстей, за закономъ ли нравственности? Очевидно, Пушкинъ дошелъ до той минуты, когда этотъ вопросъ, уже назрѣвавшій въ образѣ черкешенки и старика-цыгана, сталъ передъ нимъ во всей прямотѣ и ясности. Если отвѣтъ не виденъ уже и теперь, то послѣдующія произведенія намъ дадутъ отвѣтъ.

Рядомъ идетъ «Бахчисарайскій Фонтанъ». Доселѣ, мы видѣли, Пушкинъ оставался на почвѣ страсти: онъ только противопоставлялъ страсти эгоистической страсть идеаль-

ную, которую хотѣлъ представить и нравственною. Но въ страсти ли, какъ бы ни была она возвышенна и благородна, лежитъ задатокъ нравственности? Нѣтъ ли какого другого основанія, которое бы могло ее таквою сдѣлать, могло ее обуздывать, сдерживать? Въ «Братяхъ Разбойникахъ» укавана совѣсть. Но достаточна ли она? И вотъ передъ нами гаремъ крымскаго владыки, гдѣ уже нѣтъ никакого закона, кромѣ закона чувственныхъ страстей, передъ нами Зарема, которая только «для страсти рождена» (II, 332)... И что же? Все бѣшенство страстей останавливается, разбивается и никнетъ передъ однимъ уединеннымъ уголкомъ.

Тамъ день и ночь горитъ лампада
 Предъ ликомъ Дѣвы Пресвятой;
 Души тоскующей отрада,
 Тамъ упованье въ тишинѣ
 Съ смиренной вѣрой обитаетъ (II, 328)
 И, между тѣмъ, какъ все вокругъ
 Въ безумной нѣгѣ утопаетъ,
 Святыню строгую скрываетъ
 Спасенный чудомъ уголокъ (II, 329).

И что именно этотъ мотивъ, а не мечтательность Гирея, не бѣшеное изступленіе Заремы, составляетъ душевную правду Пушкина, доказываетъ непосредственно за симъ

слѣдующее лирическое и очевидно личное отступление:

Такъ сердце, жертва заблужденій,
Среди порочныхъ упоеній
Хранить одинъ святой залогъ,
Одно божественное чувство (II, 329).

Послѣ «Цыганъ» никто уже не говоритъ о байронизмѣ Пушкина. Онъ вышелъ на новую дорогу. Но отголоски по временамъ еще слышатся, хотя уже въ такой обстановкѣ, которая не оставляетъ сомнѣній въ образѣ мыслей Пушкина и которая придаетъ особенный интересъ и значеніе и этимъ отзвукамъ, и тому настроенію отъ котораго они уцѣлѣли. Минуя до времени и «Бориса Годунова», и «Онѣгина», и слѣдя исключительно за байроническими образами, мы прямо перешагнемъ къ «Полтавѣ». Передъ нами цѣлая буря страстей: Мазепа, Марія, Орликъ, Кочубей, его жена, молодой казакъ, Карлъ XII,—все это крутится въ ихъ круговоротѣ.

Прошло сто лѣтъ—и что-жъ осталось
Отъ сильныхъ, гордыхъ сихъ мужей,
Столь полныхъ волею страстей?
Ихъ поколѣнье миновалось—
И съ нимъ исчезъ кровавый слѣдъ
Усилій, бѣдствій и побѣдъ (III, 150).

Здѣсь уже идея Пушкина ясна безъ доказательствъ и объясненій. О шведскомъ королѣ гласятъ только

Три углубленныя въ землѣ
И мхомъ поросшія ступени (II, 150)

въ Бендерахъ; Мазепа забыть давно и тщетно

пришлецъ улылый
Нѣкаль бы гетманской могилы (III, 150);
Но дочь-преступница... преданья
Объ ней молчать (III, 151).

Торжествующимъ остался одинъ Петръ.— Образъ Мазепы слабъ и въ художественномъ, и въ психологическомъ отношеніи. Задумавъ изобразить человѣка съ сильными страстями, Пушкинъ столько нагромодилъ ихъ на душу Мазепы, что, не говоря ужъ о противорѣчіяхъ, вмѣсто образа передъ нами явилась только какая-то риторическая фигура, въ которой, какъ говорить нѣмцы, изъ-за деревьевъ лѣсу не видать. Чѣмъ же объяснимъ мы эту относительную слабость созданія? Да именно тѣмъ, что теперь мысль Пушкина занята другими идеалами и онъ усталъ рисовать ту игру страстей, которая нѣкогда такъ его занимала,—усталъ потому, что пересталъ въ ней видѣть живительную общественную силу.

Оттого-то такъ вяло, натянуто и неестественно и вышло изображеніе Мазепы, точно Пушкинъ торопился отдѣлаться отъ этого безмѣрно надоѣвшаго ему образа чловѣка со страстями.

VI.

Евгеній Онѣгинъ.

Однако прежде, чѣмъ перейдемъ къ этимъ новымъ идеаламъ Пушкина, остановимся надъ однимъ образомъ, который зародился еще въ байроническую эпоху (мы знаемъ теперь, насколько вѣрно это выраженіе), «страннымъ спутникомъ» (III, 404) прошелъ съ Пушкинымъ всѣ стадіи его развитія и былъ имъ оставленъ въ ту минуту, когда ужъ изъ этого образа нельзя было выработать ничего, соотвѣтствующаго новому настроенію самого Пушкина. Онѣгинъ гордо, безъ заботъ, начинаетъ свою пламенную молодость, отдаваясь всѣмъ теченіямъ житейскихъ волнъ, всѣмъ вѣяніямъ модныхъ вихрей. Одинъ изъ этихъ вихрей онъ ловить подъ свой парусъ и слѣдуетъ его направленію. Это демонизмъ, разочарованіе. Конечно, на реальной почвѣ, на которой про-

исходитъ дѣйствіе романа, демонизмъ принимаетъ крайне мелкіе размѣры и отношеніе къ нему Пушкина по необходимости становится ироническимъ; но именно въ этомъ и заключается тотъ величайшій интересъ, который связывается съ развитіемъ Онѣгина.

Онъ — Демонъ, но, такъ сказать, въ свѣтскомъ, прозаическомъ переводѣ. Онъ не «зоветъ прекрасное мечтою» (I, 292), но во имя политической экономіи бранитъ Гомера, Теоокрита, которыхъ, конечно, въ глаза не видалъ, и никакъ не можетъ отличить ямба отъ хорей (III, 237). Онъ не «презираетъ вдохновенья» (I, 292), но просто не понимаетъ сѣверныхъ поэмъ, которыя восторженно декламируетъ ему Ленскій (III, 268). «Язвительныя рѣчи» Демона (I, 292) стали у него просто салонными эпиграммами.

Онъ, какъ Плѣнникъ, разочарованъ и въ любви, и въ дружбѣ; но для него это вовсе не «грозное страданье», а весьма прозаическое явленіе:

Измѣны утомить успѣли,
Друзья и дружба надоѣли,
Затѣмъ, что не всегда же могъ
Beef-steaks и страсбургскій пирогъ
Шампанской обливать бутылкой
И сыпать острыя слова,
Когда болѣла голова (III, 249).

Такъ осмѣяны фальшивыя страданія Плѣнника.

Не легче приходится и Алеко. Помните, какъ онъ проклиналъ «неволю душныхъ городовъ» (II, 351)?

Вотъ нашъ Онѣгинъ сельскій житель (III, 257).

Но чтó же?

Увидѣлъ ясно онъ,
Что и въ деревнѣ скука та жё,
Хоть нѣтъ ни улицъ, ни дворцовъ (III, 257).

Но есть еще черта въ Онѣгинѣ, которая всего болѣе роднитъ его съ байроническими образами.

Не долго женскую любовь
Печалить хладная разлука:
Пройдетъ любовь, настанетъ скука,—
Красавица полюбитъ вновь (II, 291),

проповѣдовалъ плѣнникъ черкешенкѣ. Неудивительно, что та, «раскрывъ уста», слушала такія удивительныя рѣчи.

Ты любишь горестно и трудно,
А сердце женское—шутя (II, 357),

утѣшаетъ старикъ цыганъ Алеко въ измѣнѣ Земфиры. Эти умныя рѣчи повторяетъ и Онѣгинъ:

«Смѣнить не разъ младая дѣва
Мечтами легкія мечты;
Такъ деревцо свои листы

(Онъ же кстати говорилъ въ саду, матеріалъ для сравненія являлся самъ собою)

Мѣняетъ съ каждою весною:
Такъ видно небомъ суждено.
Полюбите вы снова»... (III, 308)
Едва дыша, безъ возраженій,
Татьяна слушала его (III, 308).

Но Пушкинъ возразилъ за нее. Похваливъ Онѣгина за его милый поступокъ, за «прямое благородство» его души, онъ открылъ намъ истинный смыслъ этого благородства, когда ироническую діатрибу, слѣдующую за симъ, заключилъ словами:

Любите самого себя,
Достопочтенный мой читатель (III, 310).

Эгоизмъ высокомѣрнаго самомнѣнія, демонической гордости, разоблаченъ и изобличенъ. Въ будущемъ ждетъ его еще большая кара. Оттолкнувъ Татьяну, убивъ Ленскаго, Онѣгинъ скрывается изъ деревни. Татьяна попадаетъ въ его кабинетъ, находитъ его книги,—

И ей открылся міръ иной (III, 366):
Хранили многія страницы
Отмѣтку рѣзкую ногтей;
На ихъ поляхъ она встрѣчаетъ
Черты его карандаша;
Вездѣ Онѣгина душа
Себя невольно выражаетъ (III, 367)—

и Татьяна начинаетъ понимать яснѣй это созданье ада, этого надменнаго Демона. Что-жъ онъ? Увы!

Подражанье,

Ничтожный призракъ, иль еще
Москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ,
Чужихъ причудъ истолкованье,
Словъ модныхъ полный лексиконъ?
Ужъ не пародія ли онъ? (III, 367).

Не дешево обошлось Татьянѣ это открытіе; разочарованіе, доставшееся ей на долю, было подѣйствительнѣй онѣгинскаго. Но отсюда и раскрывается воплощенная въ Татьянѣ идея Пушкина. Схоронивъ идеаль Онѣгина, Татьяна сознала правду своего чувства и эту святыню унесла съ собою на всю свою жизнь. Да, для нея любовь была не шутка. Онѣгинъ оказался ея недостойнымъ — и этого напускнаго Онѣгина она отвергла навсегда, безповоротно; но тотъ идеаль, который въ образѣ Онѣгина предательски похитилъ ея чувство, остается навсегда предметомъ ея любви.

Я васъ люблю,—къ чему лукавить? (III, 403)
говорила она не тому Онѣгину, который

Въ тоскѣ безумныхъ сожалѣній (III, 401)
стоялъ на колѣняхъ передъ нею, но тому, который нѣкогда являлся ей въ сумракѣ ли-

повыхъ аллея. Оттого-то онъ и не имѣеть болѣе никакой власти надъ нею. Но не въ этомъ убійственномъ приговорѣ:

Вы должны меня оставить (Ш, 403),

заклѣчается кара Онѣгина: она заклѣчается въ его чувствѣ. Было время, когда онъ «не посмѣлъ повѣрить» нѣжности Татьяны, когда любовь для него была только «милой привычкой», которой онъ «не далъ ходу», «не желая потерять свободу» (Ш, 396), но теперь... Въ высшей степени замѣчательнъ приговоръ, который Пушкинъ произноситъ надъ любовью Онѣгина. Въ «Полтавѣ» онъ оправдываетъ любовь Мазепы: чувства въ немъ кипятъ, «не мгновенными страстями пылаеть сердце старика, окаменѣлое годами»:

Въ немъ позднѣй жаръ ужъ не остынетъ

И съ жизнью лишь его покинетъ (Ш, 110).

Это было написано въ 1828 году, это — послѣднее байроническое воспоминаніе. Но вотъ какъ судить объ этомъ Пушкинъ въ 1831 году:

въ возрастъ позднѣй и безплоднѣй,

На поворотѣ нашихъ лѣтъ,

Печаленъ страсти мертвыя слѣды.

Такъ бури осени холодной

Въ болото обращаютъ лугъ

И обнажаютъ лѣсъ вокругъ (Ш, 394).

Блаженъ, кто съ молоду былъ молодъ,
Блаженъ, кто во время созрѣлъ (III, 385),

заключаетъ поэтъ.

Такъ разстался Пушкинъ съ идеалами
свободной страсти.

VII.

Татьяна.

Какой же идеалъ созрѣлъ теперь въ его
душѣ? Опять обратимся къ прежнимъ обра-
замъ—черкешёнкѣ, старику цыгану, брать-
ямъ разбойникамъ. Мы видѣли, какъ Пуш-
кинъ, еще

въ законъ себѣ вмѣняя
Страстей единый произволь (III, 382),

старался возвести страсть къ возвышенному
нравственному характеру. Но страсть и обла-
гороженная оставалась страстью. И вотъ
Пушкинъ переноситъ свой взоръ въ дру-
гую сторону: страсти съ ея буйнымъ произ-
воломъ онъ противопоставляетъ чувство за-
коннаго долга. Что ставить Татьяну неиз-
мѣримо выше всего окружающаго міра, что
даетъ ей эту власть надъ нимъ? Ея спокой-
ное достоинство, основанное именно на этомъ

непоколебимомъ чувствѣ долга, ея свобода
отъ всякой тревоги и мелочныхъ страстей.

Я другому отдана:
Я буду вѣкъ ему вѣрна (III, 403).

Эти слова Татьяны подавали поводъ къ безчисленнымъ и разнообразнымъ комментаріямъ. Но надо взглянуть на нихъ просто и смыслъ самъ собою станетъ понятенъ. Да, сердце Татьяны не участвовало въ выборѣ супруга: ей были всѣ жребіи равны. Ее отдали замужъ. Но, разъ принявши на себя обязательство, Татьяна свято его сбережетъ. Она ничьей, ни даже собственныхъ страстей, игрушкою не станетъ. Личное счастье было когда-то возможно, но оно не возвратится, — и не все же быть ребенкомъ: надо взглянуть на жизнь открытыми глазами и найти въ ней другое содержаніе, поважнѣй онѣгинской запоздалой страсти. Татьяна научилась уважать свое нравственное достоинство и въ немъ нашла замѣну утраченнаго счастья. Но за то какое же влияніе приобрѣла она на окружающее общество!

Къ ней дамы подвигались ближе,
Старушки улыбались ей,
Мушчины кланялися ниже,
Ловили взоръ ея очей,

Дѣвицы проходи^{ли} тише
 Предъ ней по залѣ—и всѣхъ выше
 И носъ, и плечи подымалъ
 Вошедшій съ нею генераль (Ш, 387—388).

Вотъ почему она и называется страсть Онѣгина «обидною», видитъ въ ней одно только неуваженіе къ себѣ, одно мелкое рабское чувство (Ш, 402). Татьяна развилась до той свободы, гдѣ человѣкъ становится господиномъ своихъ душевныхъ движеній и гдѣ невозможно паденіе, потому что невозможно рабство страстямъ.

Въ чемъ же тайна этой силы и этого величія Татьяны? Одинъ Достоевскій подошелъ къ рѣшенію этого вопроса, но и онъ предпочелъ пройти въ другую сторону ¹⁾). Татьяна просто уважала святость брачнаго союза, какъ уважалъ его самъ Пушкинъ и какъ онъ это неоднократно выразилъ въ своихъ произведеніяхъ,—чего или не замѣчали, или не хотятъ замѣтить наши критики. Мы приведемъ два убѣдительныхъ доказательства. Марья Кириловна Троекурова противъ воли повѣнчана со старымъ кня-

¹⁾ «О, я ни слова не скажу про ея религіозныя убѣжденія, про взглядъ на таинство брака—нѣтъ, этого я не коснусь». Сочиненія Достоевскаго, изд. Маркса, XI, 461.

земь Верейскимъ. Дубровскій, котораго она любила и который обѣщалъ освободить ее отъ этого брака, но, по сцѣпленію обстоятельствъ, не успѣлъ этого сдѣлать, на обратномъ пути изъ церкви останавливаетъ карету молодыхъ.

— «Вы свободны», сказалъ Дубровскій, обращаясь къ блѣдной княгинѣ.

— «Нѣтъ», отвѣчала она: «поздно! Я обвинчана, я жена князя Верейскаго».

— «Что вы говорите!» закричалъ съ отчаяніемъ Дубровскій: «нѣтъ, вы не жена его! Вы были приневолены, вы никогда не могли согласиться...»

— «Я согласилась, я дала клятву», возразила она съ твердостью: «князь мой мужъ, прикажите освободить его и оставьте меня съ нимъ. Я не обманывала, я ждала васъ до послѣдней минуты... Но теперь, говорю вамъ, теперь поздно. Пустите насъ» (IV, 177).

Еще убѣдительнѣй, если только предъидущій примѣръ можетъ показаться неубѣдительнымъ, мотивъ, на которомъ построена повѣсть «Метель» (IV, 46 сл.). Марья Гавриловна любитъ сосѣда Владиміра, но родители не согласны на ихъ бракъ. Тогда молодые люди рѣшаются обвинчаться тайно, безъ согласія родителей. Поднявшаяся ме-

тель сбиваетъ съ дороги жениха, а между тѣмъ проѣзжіи проказникъ офицеръ, въ темнотѣ и суматохѣ принятый за жениха, вѣнчается съ Марьей Гавриловной. При брачномъ поцѣлуѣ недоразумѣніе обнаруживается, проказникъ женихъ исчезаетъ, Владиміръ отправляется на войну и, раненый въ бородинскомъ сраженіи, умираетъ. Тайна Марьи Гавриловны никому не извѣстна, тѣмъ болѣе, что родители ея переселяются въ другую губернію. Тѣмъ не менѣе Марья Гавриловна отказываетъ всѣмъ женихамъ, пока наконецъ не привлекаетъ къ себѣ ея сочувствія молодой гусарскій полковникъ Бурминъ. Но Бурминъ, который тоже чувствуетъ привязанность къ Марьѣ Гавриловнѣ, упорно избѣгаетъ предложенія. Наконецъ, настаетъ минута рѣшительнаго объясненія. Оказывается, что Бурминъ — женатъ, или, вѣрнѣе, что онъ то именно и женатъ на Марьѣ Гавриловнѣ. Допустимъ, что повѣсть имѣетъ характеръ анекдотическій; но могла ли она и появиться, если бы ей не предшествовала мысль, что бракъ, даже такой странный и случайный, все-таки святъ и обязательенъ?

VIII.

Идеаль нравственного долга.

Увлекаемые течением пушкинского творчества, мы зашли чрезвычайно далеко впередъ. Но мы не чувствовали за собою ни права, ни возможности разорвать то, что такъ цѣлостно воплощалось въ произведеніяхъ Пушкина. Теперь, когда мы достигли, такъ сказать, другого полюса въ міросозерцаніи Пушкина, когда, вмѣсто легкомысленнаго произвола страстей, передъ нами встала величественная идея нравственного долга, мы можемъ возвратиться къ тому поворотному пункту, который исчезалъ отъ насъ въ живыхъ переливахъ поэтическихъ образовъ, но который мы уловимъ и опредѣлимъ при помощи другихъ данныхъ.

Прежде всего мы, конечно, останавливаемъ свое вниманіе на перемѣнѣ въ нравственныхъ воззрѣніяхъ поэта. Что она не была безсознательною, но, напротивъ, выработывалась путемъ долгой и серьезной работы надъ своимъ нравственнымъ состояніемъ, на это мы имѣемъ длинный рядъ доказательствъ.

Что его юношескія произведенія были дѣй-

ствительно чужды душѣ Пушкина, противорѣчили ея истинной сущности, Пушкинъ выразилъ въ слѣдующемъ замѣчательномъ стихотвореніи:

Художникъ-варваръ кистью сонной
Картину генія чернить
И свой рисунокъ беззаконный
Надъ ней бессмысленно чертить.
Но краски чуждыя, съ лѣтами,
Спадають ветхой чешуей;
Созданье генія предъ нами
Выходить съ прежней красотой.
Такъ исчезаютъ заблужденья
Съ измученной души моей
И возникаютъ въ ней видѣнья
Первоначальныхъ, чистыхъ дней (I, 208).

Пушкинъ строго слѣдилъ за своими поступками и горькія слезы раскаянія были знакомы ему не по слухамъ только.

Когда на память мнѣ невольно
Придетъ внушенный ими стихъ,
Я содрогаюсь, сердцу больно,
Мнѣ стыдно идиоловъ моихъ.
Къ чему, несчастный, я стремился?
Передъ кѣмъ унизилъ гордый умъ?
Кого восторгомъ чистыхъ думъ
Боготворить не устыдился?
Ахъ, лира, лира! Чтѣ же ты
Мое безумство разгласила?
Ахъ, еслибъ Лета поглотила
Мои летучія мечты!.. (I, 312—313).

Пустыми звуками, словами,
 Вы съете развратно зло:
 Пѣвцы любви, скажите сами,
 Какое ваше ремесло?
 Передъ судилищемъ Паллады
 Вамъ нѣтъ вѣнца, вамъ нѣтъ награды (III, 264).

Обращаясь къ одному изъ своихъ товарищей, другу и поэту, Пушкинъ говоритъ:

Съ младенчества духъ пѣсенъ въ насъ горѣлъ
 И дивное волненіе мы познали,
 Съ младенчества двѣ музы къ намъ летали
 И сладокъ былъ ихъ лаской нашъ удѣлъ;
 Но я любилъ уже рукоплесканья,—
 Ты, гордый, пѣлъ для музъ и для души;
 Свой даръ какъ жизнь я тратилъ безъ вниманья,—
 Ты геній свой воспитывалъ въ тиши.
 Служеніе музъ не терпитъ суеты:
 Прекрасное должно быть величаво;
 Но юность намъ совѣтуетъ лукаво
 И шумныя насъ радуютъ мечты...
 Опомнимся, но поздно (I, 359)...

Еще рѣзче вспоминаетъ онъ объ этихъ грѣхахъ юности въ 1828 году.

Когда для смертнаго умолкнетъ шумный день
 И на нѣмыя стогны града
 Полупрозрачная наляжетъ ночи тѣнь
 И сонъ, дневныхъ трудовъ награда,
 Въ то время для меня влечется въ тишинѣ
 Часы томительнаго бдѣнья:
 Въ бездѣйствіи ночномъ живѣй горятъ во мнѣ
 Змѣи сердечной угрызенья.

Мечты кипятъ. Въ умѣ, подавленномъ тоской,
 Тѣснится тяжкихъ думъ избытокъ.
 Воспоминаніе безмолвно предо мной
 Свой длинный развиваетъ свитокъ —
 И, съ отвращеніемъ читая жизнь мою,
 Я трепещу, и проклиная,
 И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
 Но строкъ печальныхъ не смываю.

* * *

Я вижу въ праздности, въ неистовыхъ пирахъ,
 Въ безумствѣ гибельной свободы,
 Въ неволѣ, въ бѣдности, въ чужихъ степяхъ
 Мои утраченные годы.
 Я слышу вновь друзей предательскій привѣтъ
 На играхъ Вакха и Киприды (II, 37).

Теперь поэту нужно, такъ сказать, установиться, отвлечься отъ этихъ страстей, уйти въ самого себя, чтобъ изъ глубины своего духа вынести тѣ идеалы, которые уже давно просятся наружу и только, такъ сказать, ждутъ минуты, когда за ними будутъ признаны правда и право. Вотъ какъ совершилось это перерожденіе.

Духовной жаждою томимъ,
 Въ пустынѣ мрачной я влачился
 И шестикрылый Серафимъ
 На перепутьи мнѣ явился...
 И онъ къ устамъ моимъ приникъ,
 И вырвалъ грѣшный мой языкъ,
 И празднословный, и лукавый,

И жало мудрыя зѣби
 Въ уста замершія мои
 Вложить десницею кровавой;
 И онъ мнѣ грудь разсѣкъ мечемъ,
 И сердце трепетное вынулъ,
 И углы, пылающій огнемъ,
 Во грудь отверстую водвинулъ (II, 2).

Съ этихъ поръ поэтъ уже не пойдетъ за толпой, онъ будетъ слѣдовать только «гласу Бога» (II, 3), онъ будетъ идти «дорогою свободной», «куда влечетъ его свободный умъ»,

Усовершенствуя плоды любимыхъ думъ,
 Не требуя награды за подвигъ благородный (II, 95).

Онъ скажетъ своей Музѣ:

Велѣнью Божію, о Муза, будь послушна,
 Обиды не страшась, не требуя вѣнца,
 Хвалу и клевету приѣмлив равнодушно
 И не оспаривай глупца (II, 190).

Теперь поэтъ явится дѣйствительнымъ воспитателемъ и руководителемъ общества.

IX.

Источники нравственного перелома.

Такимъ-то путемъ очищался Пушкинъ отъ всего чуждаго, наноснаго, и являлся тѣмъ, чѣмъ онъ былъ въ самомъ своемъ суще-

ствѣ,—прямымъ русскимъ человѣкомъ, проникнутымъ всѣми русскими идеалами. Это рѣшительное и такъ быстро созрѣвшее отрицаніе прежняго образа мыслей приводитъ снова къ вопросу, рѣшеніе котораго до сихъ поръ представлялось намъ только со стороны отрицательной и котораго положительную сторону мы теперь постараемся опредѣлить,—вопросу: какимъ образомъ воспитались въ Пушкинѣ эти понятія? Пушкинъ признавалъ только одно воспитаніе,—«которое дается человѣку обстоятельствами его жизни и имъ самимъ. Другого воспитанія», говорилъ онъ, «нѣтъ для существа, одареннаго душою» (VII, 16). Пушкинъ очевидно судилъ по себѣ, но къ нему эти слова могутъ быть примѣнены по всей справедливости. Воспитаніе, которое давалъ Пушкинъ самому себѣ, состояло въ упорномъ и неустанномъ трудѣ.

Здѣсь мы разумѣемъ прежде всего его работу надъ произведеніями, которая, не смотря на кажущуюся легкость и свободу формы, была тѣмъ не менѣ весьма упорна. Черновыя рукописи Пушкина достаточно о ней свидѣтельствуютъ. Пушкинъ даже по своему понималъ вдохновеніе. Вдохновеніе по его идеѣ было неразрывно соединено съ

трудомъ. Возражая одному критику, вотъ какъ различаетъ онъ вдохновеніе отъ восторга: «Критикъ смѣшиваетъ вдохновеніе съ восторгомъ. Вдохновеніе есть расположеніе души къ живѣйшему принятію впечатлѣній и соображенію понятій, слѣдственно—и объясненію оныхъ. Вдохновеніе нужно въ геометріи, какъ и въ поэзіи. Восторгъ исключаетъ спокойствіе—необходимое условіе прекраснаго. Восторгъ не предполагаетъ силы ума, располагающаго частями въ отношеніи къ цѣлому. Восторгъ непродолжителенъ, непостояненъ, слѣдовательно, не въ силахъ произвести истинное, великое совершенство.—Ода исключаетъ постоянный трудъ, безъ коего нѣтъ истинно великаго» (V, 21). Оттого-то Пушкинъ и могъ надъ засохшею рукописью своего произведенія произносить такой ясный и вѣрный судъ, какой не удавался даже и записнымъ критикамъ. Силой этого труда Пушкинъ могъ обуздать свое своенравное дарованіе и подчинить его своимъ идеаламъ.

Не менѣе важенъ тотъ, идущій черезъ всю жизнь поэта, трудъ самообразованія, которымъ Пушкинъ старался вознаградить недостатки своего, какъ онъ выражался, «проклятаго» (VII, 88) воспитанія. Письма Пуш-

кина постоянно заключаютъ въ себѣ требованія книгъ, книгъ и книгъ. На книги уходила большая часть его средствъ; въ теченіе жизни онъ составилъ весьма значительную бібліотеку. И чтеніе его постоянно сопровождалось выписками, сличеніями, критическими замѣчаніями, такъ что и чтеніе было у него трудомъ въ собственномъ и серьезномъ смыслѣ слова. Такъ же неустанно Пушкинъ вдумывался во всѣ явленія и собственной, и окружающей его жизни, уразумѣвалъ ихъ смыслъ и выводилъ изъ нихъ поученія. Оттого событія жизни имѣли для него дѣйствительно воспитывающее значеніе.

X.

Историческія основы общественныхъ идеаловъ.

Конечно, не легко было Пушкину переносить свою двукратную ссылку, тѣмъ болѣе, что онъ считалъ ее незаслуженной и несправедливою; не мало горечи, раздраженія, даже озлобленія вносила она въ душу поэта; но, если взглянуть на нее со спокойной исторической точки зрѣнія, нельзя не признать, что она, особенно въ михайлов-

скомъ уединеніи, была истиннымъ для него благодареніемъ, дѣломъ особеннаго попеченія о немъ промысла Божія, хранившаго поэта для его будущихъ великихъ созданій. Отъ сколькихъ опасностей она его сберегла, сколько дала полезныхъ уроковъ, какое открыла поприще для размышленія и самоуглубленія! Самъ Пушкинъ дивился въ послѣдствіи времени своей судьбѣ, въ стихотвореніи 30 года «Аріонъ»:

Насъ было много на челнѣ:
 Иные парусъ натягали,
 Другіе дружно упирали
 Въ глубь мощны веслы. Въ тишинѣ,
 На руль склонясь, нашъ кормщикъ умный
 Въ молчаньи правилъ грузный челнъ,
 А я—безпечной вѣры полнъ—
 Пловцамъ я пѣлъ. Вдругъ лоно волнъ
 Измялъ съ налету вихоръ шумный.
 Погибъ и кормщикъ, и пловецъ,—
 Лишь я, таинственный пѣвецъ,
 На берегъ выброшенъ грозою.
 Я гимны прежніе пою
 И ризу влажную мою
 Сушу на солнцѣ, подъ скалою (II, 15).

Всѣ біографы и критики единогласно признають, что съ 25 года Пушкинъ окончательно проникается русскою народностью, становится русскимъ народнымъ поэтомъ. Но если мы не захотимъ повторять старья, изно-

шенныя слова, то не должны ли мы себя спросить, что же значило для Пушкина сдѣлаться народнымъ? Ужели только наслушаться сказокъ своей няни, заняться собираніемъ народныхъ пѣсенъ, прислушиваться къ народному говору и къ народной рѣчи? Мы думаемъ—нѣчто иное. По нашему мнѣнію, это значитъ прежде всего угадать «предназначеніе» своей «страны родной», понять, что это предназначеніе она можетъ выполнить только оставаясь сама собою, только слѣдуя тѣмъ путемъ, который предначертанъ ей предъидущей исторіею, развивая тѣ начала, которыя заложены въ духѣ народа и выразились въ его бытѣ, воззрѣніяхъ и убѣжденіяхъ. И, что именно такое проникновеніе бытовыми и историческими началами совершилось въ Пушкинѣ въ 1825 году, доказательствомъ служатъ его послѣдующія произведенія и тѣ идеалы, которые въ нихъ выразились.

Мы знаемъ, что только дважды въ жизни творчество Пушкина принимало такіе величественные размѣры, какъ въ 1825 году. Колоссальнымъ его памятникомъ остается «Борисъ Годуновъ». Согласно разъ принятому правилу, мы оставляемъ въ покоѣ истощенную эстетическую критику. Она права, утверждая, что Пушкинъ въ «Борисѣ Году-

новѣ» слѣдовалъ Карамзину; но она не замѣчаетъ, что въ то же время Пушкинъ вносилъ въ свое созданіе идею, которой не было въ оригиналѣ, и вводилъ въ свое произведеніе лицо, которое, будучи совершенно неизвѣстно Карамзину, пріобрѣло у поэта рѣшающее и господствующее значеніе.

И Борисъ, и Самозванецъ у Пушкина сознательные преступники. Но одинъ кается въ своемъ преступленіи, кровавою тѣнью оно преслѣдуетъ его во всю жизнь, отравляетъ минуты спокойствія и наслажденія, разбѣдаетъ семейное счастье. Черные дни, предсказанные въ «Братьяхъ Разбойникахъ», приходятъ и — совѣсть просыпается.

И радъ бѣжать — да некуда! Ужасно!

Да, жалокъ тотъ, въ комъ совѣсть нечиста (III. 18).

Но рядомъ съ этимъ судомъ Божиимъ идетъ и судъ человѣческій. Напрасно Борисъ тщится быть добрымъ царемъ въ государствѣ, добрымъ отцомъ въ семействѣ:

Богъ насылалъ на нашу землю гладъ;
Народъ завылъ, въ мученьяхъ погибая;
Я отворилъ имъ житницы, я злато
Разсыпалъ имъ, я имъ сыскалъ работы, —
Они-жъ меня, бѣснующься, проклинали!
Пожарный огонь ихъ дома истребилъ;
Я выстроилъ имъ новыя жилища, —
Они-жъ меня пожаромъ упрекали!

Вотъ черни судъ: ищи-жь ея любви:
 Въ семьѣ моей я мнилъ найти отраду:
 Я дочь мою мнилъ осчастливить бракомъ;
 Какъ буря смерть уносить жениха—
 И тутъ молва лукаво нарекаетъ
 Виновникомъ дочерняго вдовства
 Меня, меня,—несчастливаго отца!..
 Кто ни умретъ,—я всѣхъ убійца тайный:
 Я ускорилъ Феодора кончину,
 Я отравилъ свою сестру-царицу,
 Монахиню смиренную,—все я! (III, 17).

Вотъ гдѣ сказался грозный судья Бориса.
 Но еще грознѣе сказывается онъ въ приговорѣ надъ Самозванцемъ (III, 76):

Мосальскій.

Кричите: да здравствуетъ царь Димитрій Ивановичь!
 Народъ безмолвствуетъ.

Сначала у Пушкина народъ повторялъ это восклицаніе, но потомъ (когда?) онъ передѣлалъ это окончаніе. Въ драматическомъ эффектѣ сцена конечно потеряла, но Пушкинъ не о театрѣ думалъ. За то въ художественномъ отношеніи вся драма безконечно выиграла. Мы позволяемъ себѣ, однако же, думать, что не одни художественныя соображенія привели Пушкина къ этой перемѣнѣ.

Въ то время, когда въ михайловской глуши онъ перерабатывалъ въ новые идеалы свои

прежнія понятія, воспроизводя образъ Бориса Годунова, углубляясь въ тайны нашего историческаго бытія, вдали отъ него жизнь шла своимъ чередомъ по намѣченной колесѣ и пришла прямо къ 14 декабря. Пушкинъ не видѣлъ этого событія своими глазами, но онъ зналъ, что въ этотъ пробный день, въ который наносныя западныя идеи вздумали прикоснуться къ основамъ нашего историческаго бытія, въ этотъ день народъ безмолвствовалъ. Пушкинъ понялъ смыслъ этого событія, понялъ, что безъ народа его судебъ рѣшать нельзя. Позднѣй онъ написалъ: «Молодой человѣкъ! Если записки мои попадутъ въ твои руки, вспомни, что лучшія и прочнѣйшія измѣненія суть тѣ, которыя происходятъ отъ улучшенія нравовъ, безъ всякихъ насильственныхъ потрясеній» (IV, 221). Съ этой минуты Пушкинъ уже не будетъ признавать другихъ условій для успѣховъ народнаго благосостоянія, кромѣ основаній историческихъ.

XI.

Идеаль гражданскаго долга.

Но отсюда же опредѣляется и идея гражданскаго долга. Долгъ налагается не служебными обязанностями, онъ настигаетъ человека, имъ вовсе непричастнаго, потому что никто не стоитъ внѣ общества, внѣ народа. Тамъ, гдѣ человекъ не подчиненъ внѣшнимъ обязанностямъ, онѣ происходятъ изъ самаго факта его рожденія, его принадлежности къ своему народу. Вотъ почему для Пушкина имѣло такой высокій и важный интересъ опредѣленіе значенія дворянства въ Россіи. Не на крѣпостномъ правѣ, не на служебныхъ отличіяхъ, но на искреннемъ, свободномъ, преданномъ, неподкупномъ служеніи основывалъ онъ это значеніе. Онъ не въ шутку гордился своимъ шестисотлѣтнимъ дворянствомъ. Въ своей родословной онъ видѣлъ, такъ сказать, тѣ корни, которыми онъ вращалъ въ самую глубь народной жизни. Онъ не хотѣлъ быть ничтожнымъ потомкомъ славныхъ предковъ, но изъ ихъ примѣра выводилъ себѣ образецъ и урокъ честнаго служенія отечеству.

Дворянство онъ понималъ не какъ право, а какъ обязанность; и онъ служилъ своимъ талантомъ, своимъ трудомъ, всею своею жизнью. Но какъ гражданинъ онъ считалъ себя обязаннымъ принимать участіе въ политической жизни своего отечества. Мысль о политическомъ журналѣ занимала его постоянно и не мало трудовъ и усилій потратилъ онъ на ея осуществленіе. Когда же ему не удалось это задушевное желаніе, онъ въ своихъ величественныхъ одахъ «Клеветникамъ Россіи» (II, 129—130) и «Бородинская годовщина» (II, 130—133) далъ поэтический образчикъ своихъ политическихъ взглядовъ. Но поэтическая форма, отвѣчающая высокимъ движеніямъ души, вызваннымъ важными событіями, не пригодна для выраженія всѣхъ оттѣнковъ политической мысли, требующей и точности, и спокойствія выраженія. И вотъ Пушкинъ снова погружался въ исторію, чтобы, по крайней мѣрѣ, тамъ, на почвѣ остывшихъ событій, высказать свое гражданское убѣжденіе.

Не можемъ здѣсь не возвратиться къ «Полтавѣ»: ея отрицательную сторону мы уже разсмотрѣли, но съ умысломъ берегли доселѣ сторону идеальную. Она выражается въ Петрѣ.

И гордь, и ясень,
И славы полонъ взоръ его (Ш 146),

но не потому, что «непобѣдимые господа шведы скоро хребетъ свой показали и отъ нашихъ войскъ вся непріятельская армія весьма опрокинута», но потому, что здѣсь Петръ завоевалъ «гражданство своей державы»:

Въ гражданствѣ сѣверной державы,
Въ ея воинственной судьбѣ,
Лишь ты воздвигъ, герой Полтавы,
Огромный памятникъ себѣ (Ш, 150).

Всегда ли и во всемъ Петръ былъ вѣренъ этому историческому долгу? Досадная помѣха препятствуетъ намъ высказать окончательное сужденіе о взглядѣ Пушкина на Петра, но мы увѣрены, что, когда оно сдѣлается возможнымъ, наше положеніе получить только новое подтвержденіе ¹⁾).

Теперь мысль Пушкина для насъ опредѣлилась. Долгъ, понятый въ связи съ историческими основами народного бытія,—вотъ что составитъ идеалъ, которому отнынѣ Пушкинъ будетъ служить.

¹⁾ Оно невозможно, пока не будутъ обнародованы выпущенныя строки въ «Мѣдномъ Всадникѣ», о которомъ по этой именно причинѣ мы и не упоминаемъ.

XII.

Идеаль царской власти.

Но это же приводит насъ къ опредѣленію другого идеала, тѣсно связаннаго съ идеей о народѣ,—идеала царской власти.

Пушкинъ находился не въ одинаковыхъ отношеніяхъ къ императорамъ Александру и Николаю. Мы уже говорили о тѣхъ противорѣчіяхъ, къ которымъ былъ приведенъ императоръ Александръ обстоятельствами и которыя дѣлаютъ изъ него, можетъ быть, самую трагическую личность XIX столѣтія. Эти противорѣчія Пушкинъ приписывалъ личности императора Александра и во всю жизнь не могъ съ нимъ примириться. Мы не станемъ поднимать намековъ на эти чувства, которые Пушкинъ не разъ проронилъ изъ-подъ своего пера, но обратимъ вниманіе на тотъ фактъ, что личныя чувства Пушкина смолкали каждый разъ, когда передъ нимъ императоръ Александръ являлся какъ лицо историческое. Пушкинъ былъ свидѣтелемъ того великаго и чуднаго момента въ нашей исторіи, когда на минуту исчезло средостѣніе преграды между царемъ и народомъ

и они снова стали вмѣстѣ въ общемъ дѣлѣ защиты отечества. Онъ никогда не могъ его забыть и воспоминаніе о немъ всегда вызывало въ Пушкинѣ лирическій восторгъ. При мысли о томъ, что онъ (императоръ Александръ) взялъ Парижъ, Пушкинъ прощалъ неправоe гоненіе (I, 360).

Свершилось! Русскій Царь, достигъ ты славной
цѣли! (А 1, 163),

восклицалъ онъ пятнадцатилѣтнимъ отрокомъ. Это воспоминаніе посѣтило его въ предсмертную лицейскую годовщину и на немъ оборвалась его лебединая пѣснь.

Вы помните: текла за ратью рать,
Со старшими мы братьями прощались
И въ сѣнь наукъ съ досадой возвращались,
Завидуя тому, кто умирать
Шелъ мимо насъ... И племена сразились,
Русь обняла кичливаго врага
И заревоу московскимъ озарились
Его полкамъ готовые снѣга.
Вы помните, какъ нашъ Агамемнонъ
Изъ плѣннаго Парижа къ намъ примчался:
Какой восторгъ тогда предъ нимъ раздался!
Какъ былъ великъ, какъ былъ прекрасенъ онъ,
Народовъ другъ, спаситель ихъ свободы! (II, 192).

Въ повѣсти «Метель», подобно всемъ повѣстямъ Бѣлкина отличающейся высочайшимъ эпическимъ спокойствіемъ, сжатое, чутъ не

сухое изложеніе вдругъ прерывается при воспоминаніи о 12-мъ годѣ. «Время незабвенное! Время славы и восторга! Какъ сильно билось русское сердце при словѣ отечество! Какъ сладки были слезы свиданія! *Съ ка-кимъ единомушіемъ соединяли мы чувства народной гордости и любви къ государю!*» (IV, 52).

Совсѣмъ въ другія отношенія становится Пушкинъ съ перваго же раза къ императору Николаю. Никто не знаетъ, о чемъ бесѣдовали они въ кремлевскомъ дворцѣ, но мы знаемъ тѣ историческія основы, на которыхъ строились теперь воззрѣнія Пушкина, знаемъ, что возвращеніе къ народнымъ и историческимъ началамъ составляетъ лучшую и важнѣйшую сторону Николаевского царствованія, знаемъ твердый, прямой и благородный характеръ императора и понимаемъ, что Пушкинъ не могъ его не любить.

Нѣтъ, я не льстецъ, когда царю
Хвалу свободную слагаю:
Я смѣло чувства выражаю,
Языкомъ сердца говорю.
Его я просто полюбилъ:
Онъ бодро, честно править нами...
Во мнѣ почтилъ онъ вдохновенье,
Освободилъ онъ мысль мою —

И я-ль въ сердечномъ умиленіи
 Ему хвалы не воспою?
 Бѣда странѣ, гдѣ рабъ и льстецъ
 Одни приближены къ престолу,
 А небомъ избранный пѣвецъ
 Молчитъ, потупя очи долу (II, 29—30).

Въ императорѣ Николаѣ онъ видѣлъ осуществленіе того идеала царя, который былъ выработанъ его сознаніемъ, и это сознаніе онъ считалъ не своимъ только личнымъ, но, какъ оно и на самомъ дѣлѣ было, общенароднымъ, только въ немъ находившимъ своего представителя и выразителя. Бывали недоразумѣнія и размолвки. Императоръ Николай имѣлъ одинъ недостатокъ—это тотъ избытокъ благородства, который даже у заклятыхъ враговъ исторгнулъ ему наименованіе рыцаря. Находились люди, которые злоупотребляли этою чертою характера, и Пушкину было больно, когда между нимъ и царемъ становились люди, которые всего меньше отвѣчали его идеаламъ. Но Пушкинъ никогда не измѣнилъ своему чувству любви и вѣра его была оправдана, когда онъ зналъ, что въ поздній полуночный часъ царь не спитъ, ожидая извѣстій о его болѣзни, когда онъ держалъ въ рукахъ собственноручную записку царя, начинающуюся словами: лю-

безный другъ, Александръ Сергѣевичъ. Въ эту минуту онъ могъ пожалѣть, что умираетъ, но онъ умеръ все-таки утѣшенный.

Этими личными отношеніями однако же не исчерпывается вся полнота пушкинской идеи. Комментаторомъ ея является Гоголь. Извѣстно, какая духовная связь соединяла его съ Пушкинымъ. И вотъ Гоголь приводитъ намъ сужденіе Пушкина о самодержавной власти. «Зачѣмъ нужно»,— говорилъ онъ,— «чтобы одинъ изъ насъ сталъ выше всѣхъ и даже самаго закона? Затѣмъ, что законъ — дерево; въ законѣ слышитъ человѣкъ что-то жесткое и небратское. Съ однимъ буквальнымъ исполненіемъ закона далеко не уйдешь; нарушить же или не исполнить его никто изъ насъ не долженъ: для этого-то и нужна высшая милость, умягчающая законъ, которая можетъ явиться людямъ только въ одной полномощной власти»¹⁾).

Если слова Гоголя требуютъ оправданія, то мы надѣемся найти его въ произведеніяхъ Пушкина. Эстетическіе критики истратили все свое остроуміе, рѣшая вопросъ: почему Пушкину вздумалось переложить въ эпиче-

¹⁾ Сочиненія Гоголя, 10-е изданіе, подъ редакцію Тихонравова, М. 1889, т. IV, стр. 43.

скую форму шекспировскую драму «Мѣра за мѣру». Но—что не эстетическіе вопросы руководили Пушкинымъ, въ этомъ достаточно убѣждаетъ самое содержаніе разсказа. Лицемерный, но безпощадный блюститель закона, Анджело противопоставляется снисходительному, но великодушному Дуку. И въ заключительныхъ словахъ повѣсти:

И Дукъ его простилъ (III, 593)

и заключается весь смыслъ этого произведенія. Можетъ быть даже онъ имѣлъ у Пушкина какое-нибудь дѣйствительное примѣненіе,—пока мы этого еще не знаемъ, но здѣсь кстати вспомнить слѣдующія слова Гоголя: «Какъ Пушкинъ весь оживлялся и вспыхивалъ, когда дѣло шло къ тому, чтобы облегчить участь какого-либо изгнанника или подать руку падшему! Какъ выжидалъ онъ первой минуты царскаго благоволенія къ нему, чтобы заикнуться не о себѣ, а о другомъ, несчастномъ, упавшемъ»¹⁾).

И что такое воззрѣніе Пушкинъ считалъ не своимъ только личнымъ, но и народнымъ, Пушкинъ выразилъ въ слѣдующемъ харак-

¹⁾ Тамъ же, стр. 51.

теристическомъ письмѣ. Богатый и сильный помѣщикъ, Кирила Петровичъ Троекуровъ, насиліемъ и неправдой отнялъ имѣніе у своего сосѣда, Дубровскаго. Сынъ Дубровскаго, Владиміръ, служитъ въ гвардіи. И вотъ, вѣрная раба, нянька Арина Егоровна Бузырева, пишетъ ему въ Петербургъ: «Слышно, земскій судъ къ намъ ѣдетъ отдать насъ подъ начальъ Кирилу Петровичу Троекурову, потому что мы, дескать, ихніе, а мы искони ваши, и отъ роду того не слыхивано. Ты бы могъ, живя въ Петербургѣ, доложить о томъ Царю-Батюшкѣ, а онъ бы не далъ насъ въ обиду» (IV, 129). Но полного своего выраженія эта идея достигаетъ въ изумительной, какъ бы изъ мрамора изваянной, сценѣ между Маріей Ивановной и императрицей Екатериною въ Капитанской Дочкѣ (IV, 271—272).

Оглядываясь съ этой точки на поэзію Пушкина, мы поймемъ тотъ живой нервъ, который черезъ нее проходитъ:

Душой будь прашуру подобенъ
И памятью, какъ онъ, незлобенъ (II, 8),

писалъ онъ въ первыхъ стансахъ императору Николаю.

Я льстецъ? Нѣтъ, братья! Льстецъ лукавъ,
Онъ горе на царя накличетъ;

Онъ изъ его державныхъ правъ
Одну лишь милость ограничить (II, 29 сл.).

Вспомнимъ изумительно глубокое стихотвореніе «Истина» и случай, его вызвавшій:

Оставь герою сердце! Чтò же
Онъ будетъ безъ него? Тиранъ! (II, 123),

вспомнимъ стихотвореніе «Къ Н***» («Съ Гомеромъ долго ты бесѣдовалъ одинъ»—II, 168), «Тучу» (II, 178), «Пиръ Петра Великаго» (II, 178—179) и наконецъ эти слова въ «Памятникѣ»:

И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ
И милость къ падшимъ призывалъ (II, 190).

Такъ дорисовывается передъ нами пушкинскій идеалъ политическаго устройства: свободная преданность долгу внизу, правосудное, но милосердное могущество наверху.

XIII.

Религіозныя убѣжденія.

Обращаемся теперь къ важнѣйшей сторонѣ Пушкинскихъ воззрѣній — къ его религіознымъ убѣжденіямъ. Анненковъ говоритъ, что религіозное направленіе начина-

сть проявляться у Пушкина особенно съ 1833 года¹⁾). Но мы скажемъ, что съ этого времени пришла очередь этому настроенію проявиться въ литературной дѣятельности Пушкина, а не въ немъ самомъ. Чтò глубже лежало, то позже и всплыло. Напротивъ, слѣды религіозныхъ интересовъ мы найдемъ неизмѣримо раньше. Что Пушкинъ ихъ долго вынашивалъ, это неудивительно: если для обработки лирическаго стихотворенія десять лѣтъ не казались ему долгимъ срокомъ, то для проявленія столь важнаго направленія и еще болѣе отдаленные сроки не покажутся долгими. Мы положительно знаемъ, что еще въ Одессѣ и Кишиневѣ Пушкинъ читалъ Библію и что это чтеніе бывало ему «по сердцу» (VII, 74). Но мы знаемъ, какая буря страстей тогда еще имъ владѣла; быть можетъ, онъ искалъ въ Библіи защиты и отъ Демона, и отъ Гунчисона,—но пока они были сильнѣй его. Воспользуемся еще разъ свидѣтельствомъ Мицкевича, относящимся къ эпохѣ вслѣдъ за созданіемъ «Бориса Годунова»: «Въ его разговорахъ, которые становились все болѣе и болѣе серьезными, нерѣдко слышались за-

¹⁾ Анненковъ, «Матеріалы», стр. 378.

чатки его будущихъ твореній. Онъ любилъ разсуждать о высокихъ религіозныхъ и общественныхъ вопросахъ, о которыхъ и не снилось его соотечественникамъ»¹⁾). Въ Михайловскомъ у Пушкина были Четьи-Минеи, къ которымъ онъ и возвратился вполслѣдствіи. Вліяніе дѣйствительно церковнославянскаго, а не лѣтописнаго, языка замѣтно во многихъ мѣстахъ «Бориса Годунова», а стихотвореніе «Пророкъ» (II, 2) до того проникнуто библейскими образами и выраженіями, что его можно назвать столько же славянскимъ, сколько и русскимъ. Въ 1829 году Пушкинъ возвратился съ Кавказа—и вотъ какія мысли привозитъ онъ отсюда. Что дѣлать съ черкесами? — спрашиваетъ Пушкинъ. «Есть... средство болѣе сообразное съ просвѣщеніемъ нашего вѣка: проповѣданіе Евангелія; но объ этомъ средствѣ Россія донинѣ и не подумала. Терпимость сама по себѣ вещь очень хорошая, но развѣ апостольство съ ней несовмѣстно? Развѣ истина дана намъ для того, чтобы

¹⁾ W rozmowach jego, które bywały coraz poważniejsze, dawały się spostrzegać zarazem zarody przyszłych jego utworów. Lubił rozbierać wysokie kwestie religijne i społeczne, o których się jego ziomkom i nie śniło.

скрывать ее подъ спудомъ? Мы окружены народами, пресмыкающимися во мракъ дѣтскихъ заблужденій, и никто еще изъ насъ и не думалъ препоясаться и идти съ миромъ и крестомъ къ бѣднымъ братіямъ, лишеннымъ доннынѣ свѣта истиннаго. Такъ ли исполняемъ мы долгъ христіанства? Кто изъ насъ, мужъ вѣры и смиренія, уподобится святымъ старцамъ, скитающимъ по пустынямъ Африки, Азіи и Америки, въ рубищахъ, часто безъ обуви, крова и пищи, но оживленнымъ теплымъ усердіемъ? Какая награда ихъ ожидаетъ? — Обращеніе престарѣлаго рыбака, или странствующаго семейства дикихъ, или мальчика, а затѣмъ нужда, голодъ, мученическая смерть. Кажется, для нашей холодной лѣности легче, взамѣнъ слова живого, выливать мертвыя буквы и посылать нѣмыя книги людямъ, незнающимъ грамоты, чѣмъ подвергаться трудамъ и опасностямъ по примѣру древнихъ апостоловъ и новѣйшихъ римско-католическихъ миссіонеровъ. Мы умѣемъ спокойно въ великолѣпныхъ храмахъ блестѣть велерѣчіемъ. Мы читаемъ свѣтскія книги и важно находимъ въ суетныхъ произведеніяхъ выраженія предосудительныя. Предвижу улыбку на многихъ устахъ. Многіе, сближая мои коллекціи сти-

ховъ съ черкесскимъ негодованіемъ, подумаютъ, что не всякій имѣетъ право говорить языкомъ высшей истины. Я не такого мнѣнія. Истина, какъ добро Мольера, тамъ и берется, гдѣ попадаетъ... Кавказъ ожидаетъ христіанскихъ миссіонеровъ» (IV, 418—419). Эти мысли не замедлили найти и поэтический отголосокъ: ихъ плодомъ осталась недоконченная поэма «Галубъ», вѣрнѣе, «Тазитъ» (III, 539 слл.). Сама по себѣ поэма еще не говоритъ о той мысли, которой она должна была служить выраженіемъ. Но сохранились двѣ программы: въ первой останавливаетъ вниманіе два раза встрѣчающееся и оба раза подчеркнутое слово *монахъ*. Вторая, по которой и написано начало поэмы, уже яснѣй опредѣляетъ значеніе монаха. Вотъ она: «1) Похороны. 2) Черкесь-христіанинъ. 3) Купецъ. 4) Рабъ. 5) Убійца. 6) Изгнаніе. 7) Любовь. 8) Сватовство. 9) Отказъ. 10) Миссіонеръ. 11) Война. 12) Сраженіе. 13) Смерть. 14) Эпilogъ» (III, 447). Очевидно, Пушкинъ хотѣлъ въ ней развить мысль, выраженную раньше: «Какая награда ихъ ожидаетъ? Обращеніе престарѣлаго рыбака, или странствующаго семейства дикихъ, или *малычика*, а затѣмъ нужда, голодъ, *мученическая смерть*»... По-

ома осталась недоконченною, потому что действительность не давала потребныхъ матеріаловъ, а фантазировать Пушкинъ не любилъ, да и не умѣлъ. Идея поэмы, однако же, ясна: гибель перваго послѣдователя новыхъ идей.

Будемъ слѣдить по стихотвореніямъ Пушкина за образами, которые господствуютъ въ его воображеніи. Пушкинъ видитъ монастырь на Казбекѣ:

Туда бѣ, въ заоблачную келью,
Въ сосѣдство Бога скрыться мнѣ!.. (II, 69).

Онъ приходитъ въ царскосельскіе сады:

Воспоминаньями смущенный,
Исполненъ сладкою тоской,
Сады прекрасные, подъ сумракъ вашъ священный
Вхожу съ поникшею главой:
Такъ отрокъ Библии, безумный расточитель,
До капли истощивъ раскаянья фіалъ,
Увидѣвъ наконецъ родимую обитель,
Главой поникъ—и зарыдалъ! (II, 75).

Въ 30 году онъ пишетъ митрополиту Филарету:

Въ часы забавъ иль праздной скуки,
Бывало, лирѣ я моей
Ввѣрялъ изнѣженные звуки
Безумства, лѣни и страстей;

Но и тогда струны лукавой
 Невольно звонъ я прерываль,
 Когда твой голосъ величавый
 Меня внезапно поражалъ.
 Я лиль потоки слезъ неожиданныхъ
 И ранамъ совѣсти моей
 Твоихъ рѣчей благоуханныхъ
 Отраденъ чистый былъ елей.
 И нынѣ съ высоты духовной
 Мнѣ руку простираешь ты
 И силой кроткой и любовной
 Смиряешь буйныя мечты.
 Твоимъ огнемъ душа палима,
 Отвергла блескъ земныхъ суетъ
 И внемлетъ арфѣ серафима
 Въ священномъ ужасѣ поэтъ (II, 88—89).

32-й годъ полонъ образами изъ западныхъ
 религиозныхъ преданій; таковы: «Начало по-
 вѣсти» (II, 137), «Юдиѣ» (II, 138), «По-
 дражаніе Данту» (II, 140—141), «Романсъ»
 («Жиль на свѣтѣ рыцарь бѣдный»—IV, 328
 сл.; ср. 333—334). Здѣсь Пушкинъ ищетъ
 исхода своему настроенію еще внѣ себя, въ
 образахъ чуждыхъ, заимствованныхъ. Но
 настроеніе охватываетъ его глубже и силь-
 нѣй. Этотъ переходъ мы видимъ въ 33 году.
 Вслѣдъ за «Родригомъ» (II, 155) и пере-
 водомъ изъ Буньяна («Странникъ», II, 165
 слл.) идетъ стихотвореніе оригинальное(?) и,
 очевидно, выражающее личную мысль поэта:

Напрасно я бѣгу къ сіонскимъ высотамъ,
 Грѣхъ алчный гонится за мною по пятамъ:
 Такъ, ревомъ яростнымъ пустыню оглашая,
 Взметая (лапой) пыль и гриву потрясая
 И поздри пыльная уткнувъ въ песокъ зыбучій,
 Голодный левъ слѣдитъ оленя бѣгъ пахучій (II, 162).

Изъ двухъ стихотвореній 34 года одно —
 «Къ Н***» (II, 168) — полно библейскихъ
 образовъ, другое — «Мицкевичъ» (II, 166—
 167) — запечатлѣно библейскимъ характе-
 ромъ. Наконецъ, 36 годъ даетъ намъ стихо-
 творенія:

Когда великое свершалось торжество
 И въ мукахъ на крестѣ кончалось Божество (II, 166),

«Подражаніе итальянскому» («Какъ съ древа
 сорвался предатель ученикъ» — II, 187) — и
 наконецъ этотъ рядъ заключается 22-го іюля,
 ровно за полгода до смерти, стихотворені-
 емъ:

Молитва.

Отцы-пустынники и жены непорочны,
 Чтобъ сердцемъ возлетать во области заочны,
 Чтобъ укрѣплять его средь дольнихъ бурь и битвъ,
 Сложили множество божественныхъ молитвъ.
 Но ни одна изъ нихъ меня не умиляетъ,
 Какъ та, которую священникъ повторяетъ
 Во дни печальные великаго поста:
 Всѣхъ чаще мнѣ она приходитъ на уста
 И падшаго свѣжить невѣдомою силой

«Владыко дней моих! Духъ праздности унылой,
 Любоначалія, змѣи сокрытой сей,
 И празднословія не дай душѣ моей;
 Но дай мнѣ зрѣть мои, о Боже, прегрѣшенія,
 Да братъ мой отъ меня не приметъ осужденія,
 И духъ смиренія, терпѣнія, любви
 И цѣломудрія мнѣ въ сердцѣ оживи (II, 188).

Но все это, такъ сказать, только пробы пера въ сравненіи съ тѣми широкими замыслами, которые питалъ поэтъ. Католичество, реформація, изобрѣтеніе пороха, книгопечатанія, должны были переплестись въ какую-то загадочную драму и послужить основою для рѣшенія какого-то неизвѣстнаго, важнаго, но несомнѣнно церковно-религіознаго вопроса. Только неясные осколки подъ произвольнымъ названіемъ «Сцены изъ рыцарскихъ временъ» (IV, 316 слл.) остались отъ этого глубокаго замысла.

Для насъ достаточно и этого, чтобы знать, чѣмъ была занята, куда стремилась мысль поэта въ послѣдніе годы его дѣятельности. Но мы знаемъ, что каждое литературное намѣреніе Пушкина имѣло долгую подготовительную работу въ жизни и въ черновыхъ его бумагахъ. И на этотъ разъ онъ не обманываетъ нашихъ ожиданій. Друзья поэта свидѣтельствуютъ, что въ послѣднее время онъ находилъ неистощимое наслажденіе въ чте-

ніи Евангелія и многія молитвы, казавшіяся ему наиболѣе исполненными высокой поэзіи, заучивалъ наизусть. Чтò касается молитвъ, мы уже видѣли плоды этого заучиванья. Но вотъ печатный отзывъ Пушкина о Евангеліи: «Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповѣдано во всѣхъ концахъ земли, примѣнено ко всевозможнымъ обстоятельствамъ жизни и происшествіямъ міра; изъ коей нельзя повторить ни единого выраженія, котораго не знали бы всѣ наизусть, которое не было бы уже пословицею народовъ; она не заключаетъ уже для насъ ничего неизвѣстнаго; но книга сія называется Евангеліемъ — и такова ея вѣчно новая прелесть, что, если мы, пресыщенные міромъ или удрученные уныніемъ, случайно откроемъ ее, то уже не въ силахъ противиться ея сладостному увлеченію и погружаемся духомъ въ ея божественное краснорѣчіе!» (V, 340—341). Черновыя тетради его наполнены выписками изъ Четыхъ-Миней и Пролога. Въ 35 году онъ помогаетъ и совѣтомъ, и дѣломъ своему товарищу князю Эристову въ составленіи историческаго словаря о святыхъ, прославленныхъ въ російской церкви, дѣлаетъ о немъ, по выходѣ въ свѣтъ, печатный отзывъ (V, 342—344),

наконецъ самъ перелагаетъ на простой языкъ, понятный всякому человѣку, даже мало искушенному въ грамотѣ, повѣствованіе Пролога о житіи преподобнаго Саввы игумена. Записка эта сохраняется въ его бумагахъ подъ слѣдующимъ заглавіемъ: «Декабря 3-го, преставленіе преподобнаго отца нашего Саввы, игумена святыя обители Пресвятой Богородицы, что на Сторожехъ, новаго чудотворца (изъ Пролога)». Мы приводимъ слова Анненкова, потому что самое сказаніе, къ сожалѣнію и удивленію, до сихъ поръ не напечатано.

Но если только въ послѣдніе годы жизни Пушкинъ сталъ проникаться церковностію, то вопросъ о значеніи церкви въ Россіи занималъ его неизмѣримо раньше. Вотъ что писалъ онъ въ 1822 году: «Екатерина явно гнала духовенство, жертвуя тѣмъ своему неограниченному властолюбію и угождая духу времени. Но, лишивъ его независимаго состоянія и ограничивъ монастырскіе доходы, она нанесла сильный ударъ просвѣщенію народному. Семинаріи пришли въ совершенный упадокъ. Многія деревни нуждаются въ священникахъ. Бѣдность и невѣжество этихъ людей, необходимыхъ въ государствѣ, ихъ унижаетъ и отнимаетъ у нихъ самую воз-

возможность заниматься важною своею долж-
 ностью. Отъ сего и происходитъ въ на-
 шемъ народѣ презрѣніе къ попамъ и рав-
 нодушіе къ отечественной религіи, ибо на-
 прасно почитаютъ русскихъ суевѣрными:
 можетъ быть, нигдѣ болѣе, какъ между
 нашимъ простымъ народомъ, не слышно на-
 смѣшекъ на счетъ всего церковнаго. Жаль,—
 ибо греческое вѣроисповѣданіе, отдѣльное
 отъ всѣхъ прочихъ, даетъ намъ особенный
 національный характеръ. Въ Россіи вліяніе
 духовенства столь же было благотворно,
 сколько пагубно въ земляхъ римско-като-
 лическихъ. Тамъ оно, признавая главою
 своею папу, составляло особое общество,
 независимое отъ гражданскихъ законовъ,
 и вѣчно полагало суевѣрныя преграды про-
 свѣщенію. У насъ, напротивъ, завися, какъ
 и всѣ прочія сословія, отъ единой власти,
 но огражденное святыней религіи, оно всегда
 было посредникомъ между народомъ и го-
 сударемъ, какъ между человекомъ и Боже-
 ствомъ. Мы обязаны монахамъ нашей исто-
 ріи, слѣдственно и просвѣщеніемъ. Ека-
 терина знала все это и—имѣла свои виды»
 (V, 13 — 14). Мы не остановимъ вниманія
 на рѣзкости сужденія: это были черновыя
 домашнія замѣтки про себя. Не коснемся

и политической стороны дѣла. Но сужденіе о значеніи церкви для нашего просвѣщенія и особенно мысль о томъ, что православіе есть основа нашего національнаго характера, нашей народности, достойны особеннаго замѣчанія. Правда, Анненковъ говоритъ, что члены литературнаго общества Арзамасъ, къ которому принадлежалъ и Пушкинъ, отличались непоколебимою «вѣрою въ возможность соединенія коренныхъ основъ русской жизни и русскаго законодательства—монархизма и православія—съ свободой лицъ, сословій и учрежденій» ¹⁾), и приведенное мнѣніе Пушкина считаетъ отголоскомъ этихъ арзамасскихъ ученій. Къ сожалѣнію, мы не знаемъ, на чемъ основано это показаніе. Но, какъ бы то ни было, мысли были заронены и въ свое время принесли бы плодъ.

XIV.

Заключеніе.

Намъ остается подвести итогъ ко всему сказанному.

Пушкинъ умеръ не только во цвѣтѣ лѣтъ, не только въ полной силѣ таланта, но, можно

¹⁾ Анненковъ, «Пушкинъ», стр. 114.

смѣло сказать, какъ ни велики оставшіяся намъ отъ него произведенія, онъ умеръ, только приготовляясь къ еще высшимъ созданіямъ, въ которыхъ въ величественныхъ размѣрахъ, во всей полнотѣ и ясности выразились бы его идеалы. Этимъ произведеніямъ не суждено было осуществиться, но и то, что осталось намъ отъ великаго поэта, достаточно ясно показываетъ, какъ понималъ онъ завѣтныя вѣрованія русскаго народа. Семья, общество, жизнь наложили на его свѣтлую, чистую душу «свой рисунокъ беззаконный», но силой упорнаго труда, могучею дѣятельностью своего духа онъ сбросилъ «ветхую чешую» «чуждыхъ красокъ» и блеснулъ красотою «первоначальныхъ, чистыхъ» видѣній въ созданіяхъ своего гения. Цѣною глубокаго раскаянія и горькихъ слезъ искупилъ онъ заблужденія своей юности и, выйдя на царскій путь, куда звало его «Божіе велѣнье», онъ въ дивныхъ поэтическихъ глаголахъ высказалъ завѣтныя вѣрованія русскаго народа, его глубокую привязанность къ своимъ вѣковымъ учрежденіямъ, его высокую вѣру въ идеалъ царя, отмстителя неправдамъ, защитника угнетенныхъ, милосердаго къ падшимъ. Онъ вѣрилъ въ высокое историческое предназна-

ченіе страны своей родной, онъ честно и нелицемѣрно принесъ ей на служеніе свой талантъ, свои силы, свой трудъ. Онъ «призывалъ милость къ падшимъ», онъ «пробуждалъ добрыя чувства»; всегда правдивый, независимый, онъ имѣлъ право сказать о своихъ стихахъ:

И неподкупный голосъ мой
Былъ эхо русскаго народа (I, 208).

Вотъ почему и русскій народъ найдетъ и всегда будетъ находить въ поэзіи Пушкина свободное выраженіе своихъ думъ, чаяній, упованій, и на ней воспитываемый, ею вдохновляемый, будетъ въ надеждѣ славы и добра безъ боязни глядѣть впередъ и идти навстрѣчу будущему во исполненіе своего историческаго призванія.



ЖОБАРЪ И ПУШКИНЪ

М. А. Веневитиновъ предоставилъ въ мое литературное распоряженіе цѣлую пачку документовъ по дѣлу профессора Жобара. Съ благодарностью пользуюсь даннымъ мнѣ правомъ, спѣшу сообщить изъ этого дѣла нѣсколько документовъ, открывающихъ еще одну печальную страницу въ исторіи послѣднихъ дней Пушкина, когда испытанія и потрясенія падали на измученную душу поэта даже съ такихъ сторонъ, откуда не только нельзя было ихъ ожидать, но и существованія которыхъ невозможно было подозревать. Одинъ изъ такихъ «камней на голову» упалъ изъ рукъ Жобара.

Имя Жобара едва ли кому изъ читателей извѣстно. А между тѣмъ ему суждено было прибавить не малую каплю горечи къ той чашѣ страданій, которую испивалъ поэтъ, и, можетъ быть, косвенно, безъ знанія и

намѣренія, повліять и на самый трагическій исходъ его жизни. Считаемо не лишнимъ сказать нѣсколько словъ объ этой личности. Не будемъ передавать всей его исторіи, которая современемъ представитъ любопытный эпизодъ для характеристики администраціи 1830-хъ годовъ въ области просвѣщенія и правосудія, — частію потому, что она не вся и не вполне намъ извѣстна, частію потому, что и въ этихъ отрывкахъ она представляется безконечно длинной и чрезвычайно сложной. Ограничимся только краткимъ перечнемъ главнѣйшихъ фактовъ его біографіи, пользуясь послужнымъ спискомъ, который онъ самъ издалъ въ 1854 году въ Вѣнѣ подъ громкимъ заглавіемъ «Extrait de mes mémoires sur la Russie».

Альфонсъ Жобаръ (Jobard) родился въ 1793 году во Франціи, воспитывался сначала въ Лангрѣ (Langres), потомъ въ Митавской гимназіи, по окончаніи курса въ которой въ 1817 году сдѣлался учителемъ французскаго языка въ Рижской гимназіи. Затѣмъ, въ 1820 году онъ перешелъ на службу въ Петербургъ, въ Смольный институтъ, состоявшій подъ покровительствомъ императрицы Маріи Ѳеодоровны, отъ кото-

рой за свою службу удостоился получить золотою табакерку. Здѣсь же познакомился онъ съ Магницкимъ, который въ 1822 году назначилъ его въ Казанскій университетъ профессоромъ словесности греческой, латинской и французской, съ удвоеннымъ окладомъ жалованья.

Извѣстно, что такое былъ Казанскій университетъ подъ управленіемъ Магницкаго. Въ это то гнѣздо произвола, интригъ, ссоръ, зависти и вражды попалъ Жобаръ. Трудно было найти человѣка, способнаго еще сильнѣе разжечь страсти и усилить волненія. Жобаръ принадлежалъ къ числу людей, страдающихъ, если можно такъ выразиться, нравственнымъ дальтонизмомъ. Такіе люди не только не замѣчаютъ нѣкоторыхъ цвѣтовъ въ нравственномъ мірѣ, но иногда всѣ явленія его видятъ только въ одномъ какомъ нибудь цвѣтѣ. Они бываютъ сухи душою, черствы сердцемъ. Это однако же не исключаетъ въ нихъ возможности самой пылкой, горячей страсти. Только эта страсть, направленная не на предметы чувства, а на отвлеченныя теоретическія идеи, создаетъ изъ нихъ фанатиковъ. Люди для нихъ не существуютъ: это только символы преслѣ-

дующей ихъ идеи. Они не знаютъ ни прощенья, ни пощады, ни снисхожденія. Они не способны ни понять другого человѣка, объяснивъ себѣ его побужденія, ни принять во вниманіе его интересы, когда съ нимъ сталкиваются, ни, тѣмъ болѣе, подумать о послѣдствіяхъ своихъ поступковъ для другихъ людей. Для нихъ нѣтъ ни оцѣнки, ни выбора средствъ: всякое средство хорошо, коль скоро оно логически ведетъ къ цѣли. Не будучи нисколько лицемерами, напротивъ, искренніе въ своемъ убѣжденіи (правомъ или неправомъ—этого они не разбираютъ), они безсознательно слѣдуютъ іезуитскому принципу. Безпощадные, какъ логики, упрямые, какъ теоретики, эти люди не имѣютъ никакихъ интересовъ внѣ своей идеи и бываютъ готовы выдержать за нее самую упорную борьбу, вытерпѣть всевозможныя страданія. За то въ защитѣ своей идеи они обнаруживаютъ изумительную силу ума, самую изворотливую діалектику, несокрушимую послѣдовательность, неистощимую изобрѣтательность.

Для Жобара такою властвующей идеею была идея формальной справедливости. Онъ не зналъ, что справедливость есть только

внѣшнее выраженіе другого, болѣе широкаго и внутренняго, требованія чловѣческой природы,—нравственной правды. Жобаръ зналъ только законъ, и при томъ законъ писанный, и внѣ его не признавалъ ничего. Еще въ 1854 году онъ не переставалъ требовать отъ русскаго правительства 200.000 франковъ жалованья за тѣ годы, когда онъ не только не читалъ лекцій въ университетѣ, но даже и не жилъ въ Казани, основываясь на томъ, что онъ не былъ формально уволенъ въ отставку и, слѣдовательно, имѣлъ право и на званіе дѣйствительнаго профессора, и на соединенное съ этимъ званіемъ жалованье.

Неудивительно, что жизнь такого чловѣка полна противорѣчій. Многіе его поступки носятъ безспорно отпечатокъ высокой честности, но рядомъ съ ними мы встрѣчаемъ дѣйствія до того низкія и недостойныя, что затрудняемся приписать ихъ одному и тому же лицу. Строгій въ жизни, или, лучше сказать, совершенно ей чуждый («Tout moine que Vous êtes», писалъ къ нему Магницкій), и обладая въ то же время избыткомъ здоровья и физической силы, Жобаръ доходилъ до неистовства въ защитѣ своей

идеи («Votre grande santé qui Vous échauffant Vous fait agir avec une violence» — Магницкій въ томъ же письмѣ). Директоръ университета, Никольскій, такъ описываетъ одну изъ совѣтскихъ сценъ: «Лицо Жобара, и въ спокойномъ положеніи всегда красное, горѣло, глаза были мутны, какъ у человѣка, готовящагося къ битвѣ, а голосъ гремѣлъ, какъ у оратора въ народномъ собраніи». — «У меня самого», наивно (или коварно?) прибавляетъ Никольскій, «трепетало сердце при этомъ страшномъ зрѣлищѣ»¹⁾.

Принятый сначала съ величайшимъ почетомъ, какъ лицо, близкое къ попечителю, Жобаръ скоро разошелся и съ товарищами по университету, и даже со своимъ покровителемъ. Послѣ ревизіи Астраханской гимназіи, гдѣ Жобаръ обнаружилъ вопіющія злоупотребленія, началась его ожесточенная и безконечная борьба, сначала съ Магницкимъ, а потомъ послѣдовательно со всѣми министрами народнаго просвѣщенія: княземъ Ливеномъ, Уваровымъ. Мы не знаемъ, какія

¹⁾ Е. М. Оеоктистовъ, «Матеріалы для исторіи просвѣщенія въ Россіи. I. Магницкій». — О Жобарѣ стр. 109—123.

особенныя причины предубѣждали Уварова противъ Жобара, но именно Уварова послѣдній считалъ своимъ величайшимъ врагомъ. Еще Магницкій пустилъ въ ходъ мысль о «разстройствѣ идей» Жобара. Этою мыслью воспользовался и Уваровъ, когда Жобаръ 2-го мая 1835 года успѣлъ гдѣ-то на улицѣ Петербурга подать императору Николаю Павловичу слѣдующую записку:

Sire,

Daignez m'entendre.

Jobard.

Но Жобаръ добился освидѣтельствованія въ московскомъ губернскомъ правленіи, присутствіе котораго 20 іюля 1835 года нашло его «совершенно въ здоровомъ состояніи разсудка». Послѣ этого ожесточеніе Жобара не знало предѣловъ. Къ пасхѣ 1836 года онъ послалъ Уварову и распространилъ въ публикѣ письмо подъ заглавіемъ «Mon oeuſ de Râques», въ которомъ пытался доказать, что ученые труды Уварова, какъ-то: «Исслѣдованіе объ Элевзинскихъ таинствахъ» и др., принадлежали не ему, а профессору Грефе. Не трудно видѣть, какъ долженъ

*

былъ отравлять жизнь министру такой ожесточенный и неотвязчивый врагъ.

Въ самый разгаръ этого ожесточенія появилась извѣстная ода Пушкина «На выздоровленіе Лукулла» (II, 180 сл.), направленная, какъ того не отрицаетъ и самъ Пушкинъ, на Уварова. Опять таки, мы не знаемъ, чѣмъ было вызвано появленіе и напечатаніе этой оды; во всякомъ случаѣ она имѣла чрезвычайно важныя послѣдствія для поэта, такъ какъ окончательно возстановила противъ него Уварова, который давно уже питалъ къ нему явное нерасположеніе. Эта ода навлекла на Пушкина тотъ серьезный и холодный выговоръ, который онъ долженъ былъ съ покорностью принять отъ князя Репнина ¹⁾. Наконецъ, какъ можно заключить изъ нижеслѣдующаго письма Пушкина, она вызвала даже неудовольствіе Государя. Среди тревогъ своей жизни Пушкинъ, конечно, желалъ, чтобы эта вспышка была, какъ можно скорѣе, забыта. Но тутъ то его злымъ гениемъ и явился Жобаръ. Въ своемъ

¹⁾ См. «Русская Старина» изд. 1880 г., т. XXVIII, июнь, стр. 318—320. Изъ этой переписки оба письма Пушкина вошли въ его сочиненія (VII, 393—394).

неразборчивомъ бѣшенствѣ онъ ухватился за оду Пушкина, какъ за средство, чтобы еще разъ уколоть своего врага. Онъ перевелъ эту оду на французскій языкъ и послалъ къ Уварову (раньше или позже «Пасхальнаго яйца»—трудно понять, но по всей вѣроятности раньше), испрашивая его разрѣшенія напечатать въ Бельгii свой переводъ «съ объяснительными примѣчаніями». Излишне прибавлять, насколько этотъ случай содѣйствовалъ улучшенію отношеній между Уваровымъ и Пушкинымъ.

Послѣ этого объясненія приводимъ самые документы.

I.

Épître à M-r Ouvaroff,

Ministre de l'instruction publique, Président
de l'Académie des Sciences, auteur des com-
mentaires savants sur les classiques anciens,
traducteur de la «Querelle des Slaves»
etc. etc.

Protecteur des beaux arts, grand Mécène du Nord,
Ma Muse, en ton honneur, vient de faire un effort.
In tenui labor, at tenuis non gloria: du Sage
Je chante les hauts faits,—accepte cet hommage,
Grand Ministre, et bientôt l'Europe et ses savants
Sauront apprécier tes vertus, tes talents.

Oui, Monsieur, à la lecture de la poésie
ci-jointe dont Pouchkine, Votre poète de pré-
dilection, vient d'enrichir la littérature russe,
l'enthousiasme s'est emparé de mon âme, et
quoique j'aie depuis longtemps perdu l'usage
de mesurer mes discours, je n'ai pu m'empêcher
de mettre en vers français cette ode admirable,
que lui a sans doute inspirée la protection spé-
ciale dont Votre Excellence daigne honorer
les fils d'Apollon.

Désirant attirer aussi sur ma Muse inconnue
un regard favorable du Mécène du Nord, je
prends la liberté de déposer au pied de l'Hé-
licon, sa demeure inaccessible ¹⁾, la traduction
française du dernier chant du Pindare russe, de
cet enfant chéri des Muses.

¹⁾ Жобаръ неоднократно добивался свиданія съ
Уваровымъ, но его просьбы объ этомъ оставались
со стороны Уварова безо всякаго отвѣта.

[Переводъ].

I.

Посланіе г-ну Уварову,

Министру народнаго просвѣщенія, Президенту Академіи Наукъ, автору ученыхъ толкованій на древнихъ классиковъ, переводчику «Спора славянъ», и пр., и пр.

Покровитель искусствъ, Великій Меценатъ Сѣвера, Вотъ, моя Муза дѣлаетъ усиліе въ твою честь.

In tenui labor, at tenuis non gloria: мудреца

Пою я высокія дѣянія,—прими эту дань почтенія, Великій министръ, и скоро Европа и ея ученые Оцѣнятъ твои доблести, твои дарованія.

Да, Милостивый Государь, при чтеніи прилагаемаго стихотворенія, которымъ Пушкинъ, Вашъ излюбленный поэтъ, только что обогатилъ русскую словесность, восторгъ овладѣлъ моею душой и, хоть я уже давно утратилъ привычку соблюдать мѣру въ моихъ рѣчахъ ¹⁾, я не могъ удержаться, чтобы не переложить на французскіе стихи эту изумительную оду, которую ему безъ сомнѣнія внушило особое покровительство, которымъ Ваше Превосходительство удостоиваетъ чтить сыновъ Аполлона.

Желая привлечь и на мою невѣдомую Музу благосклонный взоръ Мецената Сѣвера, я осмѣливаюсь повергнуть къ подножію Геликона, его недоступной обители, француз-

¹⁾ Игра словъ: *mesurer mes discours* можетъ значить и «говорить мѣрною рѣчью», т. е. стихами, и «умѣрять свои выраженія». Примѣчаніе издателя.

Votre Excellence ayant daigné naguère Elle-même mettre en vers français la Querelle des Slaves ¹⁾, j'ose espérer qu'Elle voudra bien agréer cet hommage de la part du plus respectueux, du plus dévoué de ses subordonnés.

Étant bien résolu de faire connaître à l'Europe cette pièce extraordinaire, je me propose de l'adresser à mon frère, lithographe, imprimeur, libraire et rédacteur de l'«Industriel» à Bruxelles, avec tous les commentaires que peut réclamer l'intelligence du texte: mais avant de faire cette démarche, j'ai cru devoir soumettre ma traduction au jugement de Votre Excellence et lui demander son autorisation à ce sujet. J'ose espérer que Votre Excellence saura apprécier la pureté de mes intentions, daignera m'honorer d'une réponse favorable et accorder peut-être même une audience au plus sincère admirateur de ses vertus et de ses talents, au plus respectueux, au plus dévoué de ses subordonnés,

Moscou, A. Jobard, Professeur ordinaire
le 13 Janvier 1836 actuel de littérature grecque, latine
et française près l'Université de Kasan,
de la 7-ième classe, et Chevalier de
l'Ordre de St. Vladimir de la 4-ième
classe.

¹⁾ Вѣроятно, «Клеветникамъ Россіи». Объ этомъ переводѣ гр. Уварова ничего не извѣстно.

скій переводъ послѣдней пѣсни русскаго Пиндара, этого любимаго сына Музъ.

Такъ какъ Ваше Превосходительство недавно сами удостоили переложить на французскіе стихи «Споръ славянъ», я смѣю надѣяться, что Вамъ благоугодно будетъ принять эту дань уваженія отъ почтительнѣйшаго, отъ преданнѣйшаго изъ Вашихъ подчиненныхъ.

Твердо рѣшившись ознакомить Европу съ этимъ необыкновеннымъ сочиненіемъ, я предполагаю направить его къ моему брату, литографу, типографу, книжному торговцу и редактору «Промышленника» въ Брюсселль, со всѣми толкованіями, какихъ можетъ потребовать пониманіе текста; но прежде, чѣмъ сдѣлать этотъ шагъ, я счелъ долгомъ повергнуть мой переводъ на сужденіе Вашего Превосходительства и испросить Ваше уполномоченіе на этотъ предметъ. Смѣю надѣяться, что Ваше Превосходительство оцѣнитъ чистоту моихъ намѣреній, удостоитъ почтить меня благопріятнымъ отвѣтомъ и даже, можетъ быть, дастъ аудіенцію искреннѣйшему почитателю Вашихъ доблестей и дарованій, почтительнѣйшему, преданнѣйшему изъ Вашихъ подчиненныхъ,

Москва,
13 января 1836.

А. Жобару, Дѣйствительному ординарному профессору словесности греческой, латинской и французской въ Казанскомъ университетѣ, чинovníку 7-го класса и кавалеру ордена Св. Владиміра 4-й степ.

В. В. НИКОЛЬСКІЙ.

15

II.

O d e.

Sur la guérison de Luculle.

IMITÉ D'HORACE PAR A. P.

I.

Tu te mourais, jeune richard,
Et malgré les secours de l'art
La mort au teint pâle et livide
Sur la trame de tes beaux jours
Étendait une main avide
Et, sourde aux cris de tes entours,
Sur toi d'un bras impitoyable
Brandissait sa faux redoutable.

II.

Atterrés et sans espérance,
Les fils d'Hippocrate, en silence
De l'art consultant les secrets,
Trouvaient les secours de la vie,
De la mort bravaient les décrets.
Tes amis, tes serfs, ta patrie
Pour toi de leurs pleurs, de leurs vœux
Sans cesse importunaient les cieux.

III.

Déjà ton héritier, ainsi qu'un vil corbeau
Qui dévore sa proie enlevée au tombeau,
Livide et frémissant d'une soif criminelle,
Convoitait en son cœur ta dépouille mortelle;
Et son seing odieux, empreint sur tes lambris,
Trahissait de l'honneur sa haine et son mépris.

II.

О д а.

На выздоровленіе Лукулла.

ПОДРАЖАНІЕ ГОРАЦІУ А. П.

I.

Ты умиралъ, молодой богачъ,
 И вопреки пособіямъ искусства
 Смерть съ блѣднымъ и посинѣлымъ лицомъ
 На нить твоихъ прѣкрасныхъ дней
 Простирала жадную руку
 И, глухая къ крикамъ твоихъ приближенныхъ,
 Надъ тобою безпощадною рукою
 Заносила свою грозную косу.

II.

Сраженные и безнадѣжные,
 Сыны Гиппократы, въ молчаніи
 Соображая тайны искусства,
 Оказывали тебѣ пособія къ жизни,
 Перечили велѣніямъ смерти.
 Твои друзья, твои рабы, твое отечество
 За тебя своими слезами, своими мольбами
 Безпрестанно докучали небесамъ.

III.

Уже твой наслѣдникъ, какъ гнусный воронъ,
 Пожирающій свою добычу, извлеченную изъ могилы
 Блѣдный и трепещущій отъ преступной жажды,
 Зарился въ своею сердце на твои смертные останки
 И его ненавистная печать, оттиснутая на твоёмъ
 убранствѣ,
 Выдавала его ненависть и его презрѣніе къ честности.
 Въ лихорадочномъ жару мучительнаго ожиданія
 Онъ считалъ твои сокровища дрожащею рукою.

Délirant dans les feux d'une cruelle attente,
Il comptait tes trésors d'une main palpitante.

IV.

« Désormais », pensait-il en son étroit cerveau,
« Je n'irai plus, des grands flattant les vils caprices,
« De leurs enfants criards balancer le berceau;
« D'autres, plus vils encor, m'offriront leus services.
« Me voilà donc enfin haut et puissant seigneur
« Et n'ai plus maintenant que faire de l'honneur.
« Pourtant je cesserai d'escroquer ma pouponne
« Et ne volerai plus le bois de la couronne ».

V.

Tu revis. Tes amis accourant pleins de joie
Te pressent dans leurs bars, et les vassaux heureux
S'embrassent d'allegresse et rendent grâce aux cieux
Au transport le plus vif ton Esculape en proie
Triomphe de la mort, s'applaudit de son art;
Le fossoyeur, déçu, baisse un triste regard;
Celui qui convoitait ton immense héritage,
Chassé par les valets, a la honte en partage.

VI.

Enfin la vie, ainsi que tous ses charmes,
Te sont rendus: c'est un don précieux;
Sache en jouir, mets fin à nos alarmes,
De tes amis écoute aussi les vœux:
Elle s'écoule, aride, infructueuse;
Rends la fertile, et sans autre examen
Prends une épouse et belle et vertueuse;
Le ciel, crois-moi, bénira ton Hymen.

IV.

«Впредь», думаль онъ своими узкими мозгами,
 «Ужь я не стану, лстя презрѣннымъ прихотямъ
 вельможъ,
 «Качать колыбель ихъ крикливыхъ дѣтей;
 «Другіе, еще болѣе презрѣнные, предоставятъ мнѣ
 свои услуги;
 «Вотъ я наконецъ знатный и могущественный вель-
 можа
 «И теперь не знаю, что мнѣ и дѣлать съ честностью»
 «Впрочемъ, я перестану обсчитывать мою тетѣшку
 «И не буду больше красть казенныхъ дровъ».

V.

Ты оживаешь. Твои друзья, прибѣгая, полные ра-
 дости,
 Сжимаютъ тебя въ объятіяхъ и счастливые вассалы
 Обнимаются отъ счастья и благодарятъ небеса;
 Твой Эскулапъ, восхищенный самымъ живѣйшимъ
 восторгомъ,
 Торжествуетъ надъ смертью, восхваляетъ свое ис-
 кусство;
 Могильщикъ, обманувшись, опускаетъ печально
 взоръ;
 Тому, кто зарился на твое несмѣтное наслѣдство,
 Выгнанному слугами, достался на долю—срамъ.

VI.

Наконецъ жизнь, какъ и всѣ ея очарованія,
 Возвращены тебѣ: это драгоцѣнный даръ.
 Умѣй ею пользоваться, положи конецъ нашимъ
 тревогамъ,
 Выслушай пожеланія и друзей твоихъ:
 Она утекаетъ, безотрадная, бесплодная,—
 Слѣдай ее плодотворной и безъ дальнихъ размы-
 шлений
 Возьми себѣ супругу, и прекрасную, и добродѣтельную;
 Небеса, повѣрь мнѣ, благословятъ твой бракъ.

III.

На выздоровленіе Лукулла.

(подражаніе латинскому).

Ты угасаль, богатъ молодой,
 Ты слышалъ плачь друзей печальныхъ;
 Ужь смерть являлась за тобой
 Въ дверяхъ сѣней твоихъ хрустальныхъ:
 Она, какъ втершійся съ утра
 Заимодавецъ терпѣливый,
 Торча въ передней молчаливой,
 Не трогалась съ ковра.

Въ померкшей комнатѣ твоей
 Врачи угрюмые шептались,
 Твоихъ наслѣдниковъ, цирцей,
 Смущеньемъ лица омрачались,
 Вздыхали вѣрные рабы
 И за тебя боговъ молили,
 Не зная въ страхѣ, что судили
 Имъ тайныя судьбы,

А между тѣмъ наслѣдникъ твой,
 Какъ воронъ, къ мертвечинѣ падкій,
 Блѣднѣлъ и трясся надъ тобой,
 Знобимъ стяжанья лихорадкой.
 Уже скупой его сургучъ
 Пятналъ замки твоей конторы
 И мнилъ загрестъ онъ злата горы
 Въ пыли бумажныхъ кучъ.

Онъ мнилъ: «Теперь ужъ у вельможъ
 Не стану нянчить ребятишекъ:
 Я самъ вельможа буду тожъ,
 Въ подвалахъ, благо, есть излишекъ!

Теперь мнѣ честность — тринѣ-трава!
 Жену обсчитывать не буду
 И воровать уже забуду
 Казенныя дрова!»

Но ты воскресь. Твои друзья,
 Въ ладони хлопая, ликуютъ;
 Рабы, какъ добрая семья,
 Другъ друга въ радости цѣлуютъ;
 Бодрится врачъ, поднявъ очки,
 Гробовый мастеръ взоры клонить,
 А вмѣстѣ съ нимъ приказчикъ гонить
 Наслѣдника въ толчки.

Такъ, жизнь тебѣ возвращена
 Со всею прелестью своею;
 Смотри: безцѣнный даръ она, —
 Умѣй же пользоваться ею.
 Укрась ее: года летятъ, —
 Пора, введи въ свои чертоги
 Жену-красавицу — и боги
 Вашъ бракъ благословятъ ¹⁾.

А. Пушкинъ.

Посылая свое письмо къ Уварову, Жобаръ въ то же время сообщилъ копію съ него и Пушкину. Письмо Жобара къ Пушкину не сохранилось, но вотъ отвѣтъ на него А. С. Пушкина:

¹⁾ Эта ода (II, 180 — 181) была впервые напечатана во 2-й сентябрьской книжкѣ «Московского Наблюдателя» 1835 г. и затѣмъ въ «Библиографическихкихъ Запискахъ» 1858 г., № 12 откуда и перепечатана въ настоящей замѣткѣ.

Monsieur,

J'ai reçu avec un véritable plaisir Votre charmante traduction de l'Ode à Luculle et la lettre si flatteuse qui l'accompagne. Vos vers sont aussi jolis qu'ils sont malins, ce qui est beaucoup dire. S'il est vrai, comme Vous le dites dans Votre lettre, qu'on ait voulu légalement constater, que Vous aviez perdu l'esprit, il faut convenir, que depuis Vous l'avez diablement retrouvé!

La bienveillance que Vous paraissez me porter et dont je suis fier m'autorise à Vous parler en pleine confiance. Dans Votre lettre à M^r le ministre de l'Instruction publique vous semblez disposé à imprimer Votre traduction en Belgique en y joignant quelques notes, nécessaires, dites Vous, pour l'intelligence du texte: j'ose Vous supplier, Monsieur, de n'en rien faire. Je suis fâché d'avoir imprimé une pièce que j'ai écrite dans un moment de mauvaise humeur. Sa publication a encouru le déplaisir de quelqu'un dont l'opinion m'est chère et que je ne puis braver sans ingratitude et sans folie. Soyez assez bon pour sacrifier le plaisir de la publicité à l'idée d'obliger un confrère. Ne faites pas revivre avec l'aide de Votre talent une production qui sans cela tombera dans l'oubli,

[Переводъ].

Милостивый Государь,

Я съ истиннымъ удовольствіемъ получилъ Вашъ прелестный переводъ Оды къ Лукуллу и письмо, — столь лестное, — которое его сопровождаетъ. Ваши стихи настолько же милы, насколько злы, а это много значить. Если дѣйствительно, какъ Вы говорите въ Вашемъ письмѣ, на законномъ основаніи хотѣли удостовѣрить, что Вы лишились разсудка, то надо согласиться, что съ тѣхъ поръ Вы его чертовски вертели!

Расположеніе, которое Вы повидимому ко мнѣ питаете и которыхъ я горжусь, дозволяетъ мнѣ обратиться въ Вамъ съ полнымъ довѣріемъ. По Вашему письму къ г-ну министру народнаго просвѣщенія кажется, что Вы расположены напечатать Вашъ переводъ въ Бельгіи, присоединивъ къ нему нѣсколько примѣчаній, необходимыхъ, какъ Вы говорите, для пониманія текста: осмѣливаюсь умолять васъ, Милостивый Государь, ничего этого не дѣлать. Мнѣ досадно, что я напечаталъ пьесу, написанную въ минуту дурного расположенія духа. Ея опубликованіе вызвало неудовольствіе лица, мнѣніе котораго мнѣ дорого и которымъ пренебрегать

qu'elle mérite. J'ose espérer que Vous ne me refuserez par la grâce que je Vous demande et Vous prie de vouloir bien recevoir l'assurance de ma parfaite considération.

J'ai l'honneur d'être, Monsieur, Votre très humble et très obéissant serviteur.

A. Pouchkine.

24 Mars 1836.
St.-Petersbourg.

Разумѣется, письмо Пушкина могло остановить печатаніе оды ¹⁾, но оно уже было безсильно устранить дѣйствіе, произведен-

¹⁾ Жобарь дѣйствительно не напечаталъ своего перевода, да едвали и имѣлъ серьезное намѣреніе это дѣлать. Иначе онъ могъ бы поднести Уварову печатный экземпляръ. Для него было достаточно уязвить врага хотя бы пустой угрозою.

Примѣчаніе автора.

«По настоянію Уварова Жобарь былъ высланъ «изъ Россіи немедленно, что онъ и обозначилъ на

я не могу, не оказавшись неблагодарнымъ и безразсуднымъ. Будьте настолько добры, чтобы удовольствіемъ отъ гласности пожертвовать мысли одолжить собрата. Не оживляйте при помощи Вашего таланта произведенія, которое безъ того впадетъ въ забвеніе, коего оно заслуживаетъ. Смѣю надѣяться, что Вы не откажете мнѣ въ любезности, съ просьбой о которой я къ Вамъ обращаюсь, и прошу Васъ благоволить принять увѣреніе въ моемъ совершенномъ почтеніи.

Честь имѣю быть, Милостивый Государь, Вашимъ нижайшимъ и покорнѣйшимъ слугой.

А. Пушкинъ.

24 марта 1836.
С.-Петербургъ.

ное Жобаромъ на Уварова; да къ тому же и года не прошло послѣ этой переписки, какъ для Пушкина стали безразличны и открытые враги, и услужливые друзья вроде Жобара.

«своихъ визитныхъ карточкахъ. Таковую карточку «высланнаго изъ Россіи» Жобаръ оставилъ у кн. «П. А. Вяземскаго».

Примѣчаніе П. А. Ефремова.

*



ДАНТЕСЪ-ГЕКЕРЕНЪ



I.

Исторія послѣднихъ дней жизни Пушкина представляетъ до сихъ поръ много неяснаго и запутаннаго. Не говоря о сторонѣ дѣла общественной и психологической, даже простой пересказъ событій затрудняется отсутствіемъ точныхъ данныхъ. Авторъ біографіи Пушкина въ «Русской Старинѣ» нынѣшняго (1880-го) года неоднократно (напр. стр. 320, 322, 328, 335, 336, 511, 512) наталкивался на хронологическія недоумѣнія именно вслѣдствіе недостатка этихъ данныхъ. Сообщаю для будущихъ біографовъ Пушкина тѣ скудныя свѣдѣнія, которыя мнѣ удалось найти въ архивахъ Главнаго Штаба, бывшаго Аудиторіатскаго Департамента и Кавалергардскаго полка. Они касаются главнымъ образомъ барона Егора Осиповича Дантеса (въ документахъ онъ пишется: Дантесъ, д'Антесъ и, даже, одинъ разъ, въ печатномъ патентѣ, Донтесъ).

II.

Баронъ Георгъ Дантесъ, «изъ воспитанниковъ французско-королевскаго военнаго училища Сентъ-Сиръ», по Высочайшему повелѣнію 27-го января 1834 года, былъ допущенъ къ офицерскому экзамену въ Императорской Военной Академіи по программѣ Школы гвардейскихъ юнкеровъ и подпрапорщиковъ, причемъ былъ освобожденъ отъ испытанія въ русской словесности, военномъ уставѣ и военномъ судопроизводствѣ. Экзаменъ, не особенно блестящій ¹⁾, былъ однако признанъ удовлетворительнымъ и Дантесъ, Высочайшимъ приказомъ отъ 13-го января, опредѣленъ въ Кавалергардскій полкъ (приказъ по полку отъ 8-го февраля) корнетомъ.

1836 года, января 28-го, произведенъ въ поручики.

Въ томъ же году, іюня 4-го (16-го), ему разрѣшено принять фамилію барона Гекерена.

Въ формулярномъ спискѣ того же года (декабрь) ему показано 25 лѣтъ и онъ отмѣченъ холостымъ.

¹⁾ Разсказываютъ, что на экзаменѣ изъ географіи онъ не могъ сказать, на какой рѣкѣ стоитъ Мадридъ, и при этомъ воскликнулъ: «Et cependant j'y ai abreuvé mon cheval!» (И однако-жъ, я въ ней поилъ свою лошадь!)

III.

1837 года, января 1-го, въ приказѣ № 1-мъ по Кавалергардскому Ея Величества полку, значится между прочимъ:

«...Съ разрѣшенія Г. Командующаго Корпусомъ, объявленнаго въ предписаніи Его Высокопревосходительства отъ 28-го минувшаго декабря за № 1358-мъ, послѣдовавшаго по командѣ съ № 2178-мъ, просящему позволеніе вступить въ законный бракъ г. поручику барону де-Гекерену съ фрейлиною двора Ея Императорскаго Величества Екатериною Гончаровой—дозволяется. О чемъ и дѣлаю извѣстнымъ по полку».

Въ приказѣ № 3-й отъ 3-го января объявлено:

«Выздоровѣвшаго ¹⁾ г. поручика барона де-Гекерена числить на лицо, котораго, по случаю женитьбы его, не наряжать ни въ какую должность до 18-го сего января, т. е. въ продолженіе 15-ти дней».

¹⁾ Осенью и зимой 1836 года Дантесъ былъ боленъ дважды: въ первый разъ 19—27 октября, во второй отъ 15-го декабря по 3-е января 1837 года. Стало быть, предложеніе Е. Н. Гончаровой онъ долженъ былъ сдѣлать до второй болѣзни, а слова Пушкина въ письмѣ къ Гекерену-отцу о болѣзни Дантеса (VII, 416) должны относиться къ первой болѣзни.

22-го января 1837 г. Гекеренъ былъ уже назначенъ дежурнымъ по первому дивизиону.

Свадьба Гекерена съ Екатериною Николаевною Гончаровою состоялась 10-го января 1837 года въ Исаакіевской церкви.

IV.

Наша замѣтка о Дантесѣ была уже напечатана, когда мы получили отъ секретаря С.-Петербургской Консисторіи Ивана Тимофѣевича Камчаткина слѣдующую выписку изъ консисторскаго архива, которую съ благодарностью здѣсь и помѣщаемъ.

Въ метрической книгѣ С.-Петербургскаго Исаакіевскаго Собора за 1837 годъ, часть II, въ ст. 1, значится:

«Пребывающаго здѣсь Нидерландскаго Посланника, барона Гекерена, «усыновленный имъ баронъ Георгъ «Карлъ Гекеренъ, служащій поручикомъ въ Кавалергардскомъ Ея Императорскаго Величества полку и принадлежащій къ римско-католическому исповѣданію, 25 лѣтъ, 10-го января 1837 года, повѣнчанъ съ фрейлиною Ея Императорскаго Величества дѣвицею «Екатериною Николаевною Гончаровою, 26 лѣтъ, оба первымъ бракомъ.

«Поручителями были: по женихѣ—
«Кавалергардскаго Ея Величества полка
«ротмистръ Бетанкуръ и виконтъ д'Ар-
«шіакъ; по невѣстѣ — Оберъ-шенкъ
«графъ Григорій Александровичъ Стро-
«гановъ, лейбъ-гвардіи Гусарскаго полка
«поручикъ Иванъ Гончаровъ, Кавалер-
«гардскаго Ея Величества полка пол-
«ковникъ Александръ Полетика и Ни-
«дерландскій Посланникъ баронъ Ге-
«керенъ.

«Бракъ вѣнчалъ священникъ Николай
Райковскій».

V.

Затѣмъ, по рапорту командира Кавалер-
гардскаго полка, генерала Гринвальда, воз-
никаетъ дѣло о дуэли.

При назначеніи суда надъ Гекереномъ Го-
сударю Императору угодно было повелѣть,
чтобы судъ представилъ заключеніе и о томъ,
«какому наказанію подлежалъ бы камеръ-
юнкеръ Пушкинъ (нынѣ умершій), если бы
остался живъ».

Въ составъ суда вошли: генералы: кн. Ша-
ховской, Игнатьевъ, Крыжановскій, Полу-
ектовъ, Княжнинъ, Коцебу; полковники:

Бѣлоградскій и Берхманъ, — при аудиторѣ Ноинскомъ.

Самаго дѣла я не видалъ, но во всеподданнѣйшемъ докладѣ ¹⁾ я отмѣтилъ слѣдующія, не лишенныя интереса, свѣдѣнія.

Мѣсто дуэли обозначается довольно неопредѣленно: «по Выборгскому тракту, за комендантскою дачею, въ рошѣ»; «за Выборгскою заставою, близъ Новой деревни, въ рошѣ за комендантскою дачею»; «Данзасъ съ д'Аршіакомъ посадили Пушкина въ сани и довели до комендантской дачи разстояніемъ съ полверсты отъ мѣста дуэли».

Въ докладѣ упоминается о письмахъ, «находящихся у Его Императорскаго Величества» ²⁾.

¹⁾ А. Любавскій, «Русскіе уголовные процессы», Спб. 1866, стр. 560 — 569. Здѣсь изложенъ сокращенно только всеподданнѣйшій докладъ.

²⁾ Отсюда видно, что Государю дѣйствительно были представлены еще во время судопроизводства какія-то письма, имѣющія отношеніе къ дѣлу о дуэли Пушкина. Но, какъ видно изъ дальнѣйшаго, ничѣмъ не подтверждается рассказъ Гекерена графу В. А. Соллогубу («Воспоминанія графа В. А. Соллогуба», М. 1866, стр. 62), будто «фельдъегерь на границѣ вручилъ ему (Гекерену) отъ государя запечатанный пакетъ съ документами его печальной исторіи». Еще менѣе правдоподобно утвержденіе Гекерена, что «онъ (!) не имѣлъ духа распечатать этотъ пакетъ». Стало быть, и мечты графа Сологуба о томъ, что

Рана Дантеса описана отъ 5-го февраля слѣдующимъ образомъ:

«Гекеренъ имѣетъ пулевую проникающую рану на правой рукѣ ниже локтеваго состава на четыре поперечныхъ перста. Входъ и выходъ пули въ небольшомъ одинъ отъ другого разстояніи. Обѣ раны находятся въ сгибающихъ перемышицахъ, окружающихъ лучевую кость, болѣе къ наружной сторонѣ. Раны простыя, чистыя, безъ поврежденія костей и большихъ кровеносныхъ сосудовъ» ¹⁾.

8-го февраля онъ уже признанъ здоровымъ.

Въ своихъ показаніяхъ подсудимый Гекеренъ между прочимъ отозвался, «что, посылая довольно часто къ г-жѣ Пушкиной книги и театральные билеты при короткихъ запискахъ, полагаетъ, что въ числѣ ихъ находились нѣкоторыя, коихъ выраженія могли возбудить его (Пушкина) шекотливость, какъ мужа, что и дало поводъ Пуш-

на основаніи этихъ документовъ можно узнать имя настоящаго убійцы Пушкина — совершенно напрасны.

¹⁾ Напрасно же Дантесъ во время дуэли воображалъ, что, будто, пуля у него въ груди!!

кину упомянуть о нихъ въ своемъ письмѣ отъ 26-го января къ барону де-Гекерену, какъ дурачества, имъ (подсудимымъ) писанья» ¹⁾. Гекеренъ прибавилъ, что записки эти были писаны «до того, какъ онъ былъ женихомъ». Объясняя свои отношенія къ Пушкину, Гекеренъ сказалъ, «что Пушкинъ прислалъ свою жену къ нему въ домъ на его свадьбу» ²⁾.

Подсудимые были приговорены къ смертной казни ³⁾, но какъ судъ, такъ и генералы: Гринвальдъ, баронъ Мейендорфъ, графъ Апраксинъ, Кноррингъ и Бистромъ, подававшіе свои отзывы, предлагали различныя формы замѣны и смягченія этого наказанія.

Приговоръ суда былъ Высочайше подтвержденъ 18-го марта. Гекеренъ разжалованъ въ рядовые съ высылкою за границу.

¹⁾ Показанія Дантеса на судѣ переводили сами судьи, противъ чего и протестовалъ аудиторъ Ноинскій, жалуясь какъ на формальную сторону (отсутствіе переводчика), такъ и на дурной переводъ.

²⁾ То есть, говоря по-русски, Пушкинъ позволилъ женѣ пріѣхать на свадьбу ея сестры.

³⁾ На основаніи ст. 139-й Воинскихъ артикуловъ 1716 года живыхъ — просто повѣсить, а убитыхъ — «и по смерти за ноги повѣсить». Любавскій, «Русскіе уголовные процессы», стр. 568.

VI.

19-го марта къ 9 ч. утра къ Гекерену явился жандармскаго дивизіона унтеръ-офицеръ Яковъ Новиковъ, долженствовавшій сопровождать его до границы.

Въ 11 ч. ему было дозволено свиданіе съ отцомъ и женой. Объ этомъ свиданіи есть слѣдующее донесеніе (безъ титула).

«По приказанію Вашего Превосходительства дозволено было рядовому Гекерену свиданіе съ женою его въ «квартирѣ посланника барона Геке-
«рена; при семъ свиданіи находились:
«жена рядового Гекерена, отецъ его—
«посланникъ и нѣкто графиня Стро-
«ганова. При свиданіи я, вмѣстѣ съ
«адъютантомъ Вашего Превосходитель-
«ства, гвардіи ротмистромъ Арцыбу-
«шевымъ, былъ безотлучно.

«Свиданіе продолжалось всего одинъ
«часъ.

«Разговоровъ, заслуживающихъ осо-
«баго вниманія, не было. Вообще въ
«разжалованномъ Гекеренѣ не замѣтно
«никакого неудовольствія; напротивъ,
«онъ изъявлялъ благодарность къ Го-

«сударю Императору за милости къ нему и за дозволеніе, данное его женѣ, «бывать у него ежедневно во время «его содержанія подъ арестомъ. Между «прочимъ, говорилъ онъ, что, по при- «ѣздѣ его въ Баденъ, онъ тотчасъ «явится къ Его Высочеству Великому «Князю Михаилу Павловичу¹⁾).

«Во все время свиданія рядовой Ге- «керенъ, жена его и посланникъ Ге- «керенъ были совершенно покойны; «при прощаніи ихъ не замѣчено ни- «какихъ особыхъ чувствъ.

«Рядовой Гекеренъ отправленъ мною «въ путь съ наряженнымъ жандарм- «скимъ унтеръ-офицеромъ въ 1^{3/4} по «полудни.

«Исправляющій должность Вице-Ди- «ректора»...

(фамилія не разобрана).

23-го марта Гекеренъ былъ уже въ Тау- рогенъ²⁾).

¹⁾ Дѣйствительно, Дантесъ, по приѣздѣ въ Баденъ, при встрѣчѣ съ Великимъ Княземъ привѣтствовалъ его по военному; но Великій Князь отъ него отвернулся.

²⁾ Восемьсотъ верстъ въ четверо сутокъ!

Унтеръ-офицеръ Новиковъ по возвращеніи донесъ, «что Гекеренъ во все время пути велъ себя смирно и весьма мало съ нимъ говорилъ, а при отъѣздѣ за границу далъ ему 25 рублей» ¹⁾).

Секундантъ Пушкина Данзасъ просидѣлъ подъ арестомъ на гауптвахтѣ въ крѣпости съ 19-го марта по 19-ое мая 1837 г.

VII.

Заимствуемъ изъ парижской корреспонденціи «Русскаго Курьера», № 172, 1880 года, послѣднія извѣстія о Гекеренѣ.

«Дантесъ-Гекеренъ живъ до сихъ поръ и живетъ постоянно въ Парижѣ на Елисейскихъ поляхъ. И не только онъ живъ, но даже его отецъ, бывшій министръ при Луи-Филиппѣ, благополучно здравствуетъ, хотя ему теперь не меньше, вѣроятно, девяноста шести лѣтъ. По возвращеніи изъ Россіи Дантесъ-Гекеренъ оставался въ неизвѣстности до 2-го декабря 1851 года, когда онъ поступилъ на службу къ Наполеону III. Признательный авантюристъ наградилъ его за это чиномъ сенатора съ

¹⁾ И ни полслова о пакетѣ, отъ имени Государя переданномъ на границѣ Гекерену!

60.000 франковъ жалованья въ годъ. Онъ тотъ самый Гекеренъ, о которомъ такъ не хорошо говоритъ Викторъ Гюго въ своихъ *Châtiments* ¹⁾. У него три дочери и одинъ сынъ. Одна изъ этихъ дочерей вышла замужъ за Вандаля, директора почтъ при имперіи и, главнымъ образомъ, директора такъ называемаго «чернаго кабинета», чѣмъ онъ и пріобрѣлъ себѣ печальную извѣстность во всей Франціи. Другая дочь замужемъ за бонапартовскимъ же генераломъ Метманомъ, а третья—душевно больная уже въ теченіе десяти лѣтъ».



¹⁾ Имени Гекерена въ текстѣ *Châtiments* не встрѣчается, но къ нему, вмѣстѣ съ другими, относится стихотвореніе «*Écrit le 17 juillet 1851, en descendant de la tribune*» (см. приложение), какъ это видно изъ примѣчанія къ этому стихотворенію, гдѣ приведены насмѣшливыя и грубыя выходки Гекерена, уже тогда бывшаго сенаторомъ, во время рѣчи Викторъ Гюго. Рассказываютъ, что въ 1852 году Наполеонъ отправилъ съ какимъ-то порученіемъ къ Императору Николаю Гекерена, но Государь отказался его принять.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Écrit le 17 juillet 1851

EN DESCENDANT DE LA TRIBUNE.

Ces hommes qui mourront, foule abjecte et grossière,
Sont de la boue avant d'être de la poussière.
Oui certe, ils passeront et mourront. Aujourd'hui
Leur vue à l'honnête homme inspire un mâle ennui.
Envieux, consumés de rages puériles,
D'autant plus furieux qu'ils se sentent stériles,
Ils mordent les talons de qui marche en avant.
Ils sont humiliés d'aboyer, ne pouvant
Jusqu'au rugissement hausser leur petitesse.
Ils courent,—c'est à qui gagnera de vitesse,
La proie est là! Hurlant et tappant à la fois,
Lancés dans le sénat ainsi que dans un bois,
Tous confondus, traitant, magistrat, soldat, prêtre,
Meute autour du lion, chenil au pied du maître,
Ils sont à qui les veut, du premier au dernier,
Aujourd'hui Bonaparte et demain Changarnier!
Ils couvrent de leur bave honneur, droit, république,
La charte populaire et l'oeuvre évangélique,
Le progrès, ferme espoir des peuples désolés.

*

Ils sont odieux.—Bien. Continuez, allez!
 Quand l'austère penseur qui, loin des multitudes,
 Rêvait hier encore au fond des solitudes,
 Apparaissant soudain dans sa tranquillité,
 Vient au milieu de vous dire la vérité,
 Défendre les vaincus, rassurer la patrie,—
 Éclatez, répandez cris, injures, furie,
 Ruez vous sur son nom comme sur un butin!
 Vous n'obtiendrez de lui qu'un sourire hautain
 Et pas même un regard!—Car cette âme sereine
 Méprisant votre estime, estime votre haine.

VICTOR HUGO.

[Переводъ].

Написано 17 июля 1851 года,

сходя съ трибуны.

Эти люди, которые умрутъ, гнусная и грубая толпа,
 Бываютъ грязью передъ тѣмъ, чтобы стать пылью.
 Да, такъ: они пройдутъ и умрутъ. Нынче
 Ихъ видъ внушаетъ честному человѣку мужествен-
 ную печаль.
 Завистливые, снѣдаемые мальчишеской яростью,
 Тѣмъ болѣе изступленные, чѣмъ болѣе сознають
 себя безсильными,
 Они кусаютъ пяты тѣхъ, кто идетъ впереди.
 Они до того унижены, что лаютъ, такъ какъ не
 могутъ
 Возвысить свое ничтожество до рычанія.

Они бѣгутъ,—для того, кто окажется проворнѣе,
 Добыча здѣсь! Заразъ и ворча, и таякая,
 Спущенные въ сенать, точно въ какой нибудь лѣсъ,
 Въ суматохѣ толкуя, чиновникъ, воинъ, священникъ,
 Свора вокругъ льва, псарня у ногъ хозяина,
 Они къ услугамъ всякаго, кто захочетъ, отъ перваго
 до послѣдняго,

Сегодня Бонапарта, а завтра—Шангарнье.
 Своею пѣной они заливаютъ честь, право, респуб-
 лику,

Народную хартію и евангельское твореніе,
 Прогрессъ, твердую надежду отчаявшихся народовъ.
 Они гнусны.—Хорошо! Продолжайте, впередъ!
 Когда строгій мыслитель, который, вдали отъ сон-
 мищъ,

Еще вчера грезилъ въ глуши уединенія,
 Появляясь внезапно со своимъ спокойствіемъ,
 Посреди васъ пытается высказать правду,
 Защитить побѣжденныхъ, успокоить отечество,
 Разразитесь, испускайте крики, ругательства, не-
 истовства,

Обруштесь на его имя, какъ на добычу!
 Вы ничего не добьетесь отъ него, кромѣ надмен-
 ной усмѣшки

И—даже ни взгляда! — Такъ какъ его возвышен-
 ная душа,

Презирая ваше уваженіе, уважаетъ вашу ненависть.

Викторъ Гюго.



КЪ БИБЛИОГРАФИИ
„ЕВГЕНІЯ ОНЪГИНА“

При основаніи пушкинской библіотеки Императорскаго Александровскаго Лицея было постановлено правиломъ принимать всѣ приношенія, предоставляя будущему опредѣлить ихъ относительное достоинство. Практическая польза этого правила сказалась очень скоро: изъ нѣсколькихъ дефектовъ уже удалось составить полные и хорошіе экземпляры. Въ библіотеку былъ пожертвованъ изъ первыхъ рукъ превосходный, въ современномъ переплетѣ, экземпляръ «Исторіи Пугачевского бунта», но безъ портрета, составляющаго, какъ извѣстно, библіографическую рѣдкость; вслѣдъ за тѣмъ поступилъ другой, довольно плохой экземпляръ, за то съ прекрасно сохраннымъ портретомъ. Изъ двухъ дефектовъ получился отличный полный номеръ. Но кромѣ этой непосредственной пользы собираніе дублетовъ повело къ нѣкоторымъ любопытнымъ замѣчаніямъ. Представляемъ къ свѣдѣнію библіографовъ два, касающихся собственно «Евгенія Онѣгина».

I.

Романъ этотъ выходилъ отдѣльными книжками или «тетрадами», какъ называлъ ихъ Пушкинъ:

Въ началѣ моего романа—
Смотрите первую тетрадь (III, 339).

Въ свое время мы представимъ обстоятельное ихъ описаніе; теперь замѣтимъ только, что книжки эти, выходившія въ разное время и изъ разныхъ типографій, имѣли совершенно одинаковый внѣшній видъ. Это давало возможность переплестать вмѣстѣ отдѣльныя главы.

Въ лицейской библіотекѣ есть пять такихъ сборниковъ: два въ двѣ главы (1-я и 2-я), два въ шесть и одинъ въ семь главъ. Сличеніе ихъ показываетъ, что они составлялись самими читателями, такъ что, можетъ быть, найдутся сборники въ три, пять и восемь главъ. Но въ концѣ шестой главы мы читаемъ слова: «конецъ первой части». Является вопросъ, не были ли эти шесть главъ подъ именемъ первой части соединены въ одну общую обертку съ общимъ заглавіемъ, подобно тому, какъ «Графъ Нулинъ» былъ изданъ во второй разъ въ

одной оберткѣ съ повѣстью Баратынскаго «Балъ» подъ общимъ заглавіемъ «Двѣ повѣсти въ стихахъ»? Не случалось ли кому встрѣтить подобный сборникъ?

II.

Главы четвертая и пятая вышли вмѣстѣ въ одной оберткѣ и съ общимъ счетомъ страницъ. Кромѣ упомянутыхъ сборниковъ въ пушкинской библіотекѣ есть еще два отдѣльных экземпляра этихъ главъ. При разсмотрѣніи этихъ экземпляровъ открыли слѣдующій любопытный фактъ. Къ шестой главѣ Пушкинъ приложилъ списокъ исправленій къ предъидущимъ главамъ. Всѣ пять экземпляровъ Пушкинской библіотеки представляютъ текстъ неисправленный. Такъ на стр. 66-й (гл. V, строфа XV) во всѣхъ экземплярахъ читаемъ:

И въ шалашѣ ужасный шумъ

вмѣсто исправленнаго:

И въ шалашѣ и крикъ и шумъ (III, 328).

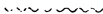
Но на стр. 65-й (строфа XIV) въ трехъ экземплярахъ текстъ неисправленный:

И силъ бѣжать ей нѣтъ,

а въ двухъ—исправленный:

И силъ уже бѣжать ей нѣтъ (Ш, 328).

Какъ произошла эта разница, объяснять не беремся, но, во всякомъ случаѣ, библиофилы должны знать, что отдѣльное изданіе пятой главы «Евгенія Онѣгина» существуетъ въ двухъ изданіяхъ.



ОГЛАВЛЕНІЕ.

11

-

■

20. 2

ОГЛАВЛЕНИЕ.

	СТРАН.
Предисловіе къ 4-му изданію	v
Предисловіе къ 3-му изданію	vii
Предисловіе ко 2-му изданію	ix
Идеалы Пушкина	11
I. Состояніе критической оцѣнки Пушкина въ 1881 году	13
II. Біографическое значеніе Пушкинскаго творчества.	17
III. Искренность и скрытность поэта	24
IV. Среда, идеалы и творчество.	30
V. Идеалы свободной страсти	40
VI. Евгений Онѣгинъ	49
VII. Татьяна	55
VIII. Идеаль нравственнаго долга	60
IX. Источники нравственнаго перелома . . .	64
X. Историческія основы общественныхъ иде- аловъ	67
XI. Идеаль гражданскаго долга	73

	СТРАН.
XII. Идеалъ царской власти	76
XIII. Религіозныя убѣжденія	83
XIV. Заключение	95
Жобаръ и Пушкинъ	101
Дантесъ-Гекеренъ	123
Къ библиографіи „Евгенія Онѣгина“	145



ВИКТОРЪ ОСТРОГОРСКИЙ.

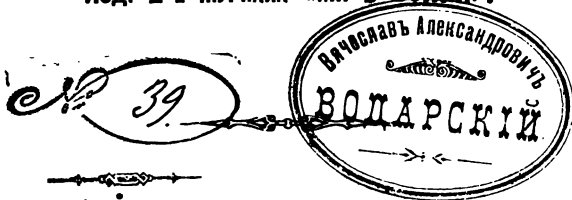
ЭТЮДЫ О РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЯХЪ.

V.

ОЧЕРКИ

ПУШКИНСКОЙ РУСИ.

Изд. 2-е журнала «МІРЪ БОЖІЙ».



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія И. Н. Скороходова (Надеждинская, 43).

1897.

Дозволено цензурою, 29 апрѣля 1896 г. С.-Петербургъ.



ОГЛАВЛЕНІЕ.

	СТР.
I. Природа.	1
II. Крестьяне.	6
III. Господа.	21
IV. Русская женщина.	54

SECRET

ВМѢСТО ПРЕДИСЛОВІЯ.

Первое изданіе этой книжки вышло въ 1880 г., къ открытію, въ Москвѣ, 6-го іюня того же года, памятника величайшему нашему поэту А. С. Пушкину. Считаемо не лишнимъ привести отрывокъ изъ предисловія къ этому первому изданію.

При всемъ довольно значительномъ числѣ статей о Пушкинѣ, мы не имѣемъ ни одного вполне обстоятельнаго, безпристрастнаго разбора его сочиненій, и едва-ли ошибемся, сказавъ, что этого, величайшаго своего, поэта знаемъ пока еще далеко не вполне. Въ самомъ дѣлѣ, при крайне ложномъ положеніи у насъ печатнаго слова, до сихъ поръ еще очень робкаго и нерѣдко долженствующаго прибѣгать ко всякимъ компромиссамъ, чтобы сказать что-нибудь путное, Пушкинъ, какъ нерѣдко и вообще художественная литература, долго служилъ у насъ критику не столько матеріаломъ для спокойной оцѣнки явленій въ художестве-

номъ мірѣ, сколько наиболѣе удобнымъ средствомъ высказаться со стороны тѣхъ или другихъ этическихъ воззрѣній. Едва-ли не половина лучшихъ о Пушкинѣ статей Бѣлинскаго занята вовсе не разборомъ сочиненій Пушкина, а трактатами о законахъ искусства вообще, о женщинахъ, любви, ревности, сентиментальности и многомъ другомъ, что, конечно, имѣло, и даже имѣетъ до сихъ поръ, свое особое значеніе, но мало относится собственно къ критикѣ самого поэта. Здѣсь сдѣлана оцѣнка его болѣе, такъ сказать, вообще; разобраны только нѣкоторыя, важнѣйшія, стороны его поэзіи, но по полнотѣ и безпристрастію статьи Бѣлинскаго и до сихъ поръ остаются единственными. Мы позволимъ себѣ упомянуть еще статью Писарева «Пушкинъ и Бѣлинскій», хотя, конечно, не имѣющую никакого значенія въ смыслѣ сколько-нибудь безпристрастной оцѣнки поэта, но все-таки даже и до сихъ поръ остающуюся примѣромъ очень легкомысленныхъ сужденій о Пушкинѣ. Въ этой статьѣ тотъ самый поэтъ, котораго Бѣлинскій называетъ величайшимъ русскимъ художникомъ, по гению достойнымъ стать съ величайшими геніями вѣка,—поэтомъ, особенное свойство поэзіи котораго—«развивать чувство гуманности, чувство безконечнаго уваженія къ человѣческому достоинству», —поэтомъ, по твореніямъ котораго со вре-

менемъ будутъ развивать нравственное чувство,—потомъ, «которому, придетъ время, само потомство воздвигнетъ вѣковѣчный памятникъ», — тотъ же самый поэтъ, колоссъ и величіе Россіи, по словамъ Бѣлинскаго, для Писарева только «маленькій миленькій Пушкинъ» (соч. Писарева, т. III, стр. 197), имѣющій развѣ только одно стилистическое значеніе, но уже никакъ не воспитательное, въ смыслѣ пробужденія добрыхъ чувствъ, или со стороны *народности* поэта, т.-е. изображенія именно *русской жизни*.

А между тѣмъ, не мѣшало бы взглянуть на дѣло болѣе просто и спокойно, отнестись къ Пушкину, какъ къ явленію историческому, которое, обнаружившись въ извѣстномъ мѣстѣ и въ извѣстное время, не могло не нести въ себѣ всего того, что это мѣсто и время должны были внести своего, и что для насъ, потомковъ, особенно столько пережившихъ за послѣднія лѣтъ сорокъ, само по себѣ не должно казаться ни дурнымъ, ни хорошимъ, но только вполнѣ исторически законнымъ. И эта спокойная, безпристрастная оцѣнка именно Пушкина тѣмъ для насъ необходимѣе, что по обстоятельствамъ своей жизни онъ былъ поставленъ совершенно исключительно. Еще и до сихъ поръ въ его біографіи много неразъясненнаго; часть его произведеній была уничтожена имъ самимъ изъ опасенія пре-

слѣдованія; кое-что издано только за границей и по цензурнымъ условіямъ не можетъ быть допущено въ Россію; надъ Пушкинымъ отъ ранней его юности до самой смерти былъ такой страшный и разнообразный контроль, какому не подвергался ни прежде, ни послѣ еще ни одинъ изъ русскихъ писателей; въ обществѣ, среди котораго Пушкинъ жилъ, надъ поэтомъ было множество добровольныхъ шпионовъ, ловившихъ каждое его слово; строгость тогдашней цензуры была ужаснѣйшая, анекдотическая;—все это необходимо принимать въ расчетъ при требованіяхъ, съ которыми обращается къ поэту потомство. Русская литература, собственно говоря, вѣдь съ Пушкина только и началась. Эта литература въ то время была еще робкимъ дитятею; но и у нея была задача, хотя какъ-нибудь, намекомъ, натолкнуть человѣка на добрую мысль, обратить вниманіе хотя на нѣкоторыя явленія современной жизни. Конечно, Пушкинъ ни по своему воспитанію, которое самъ называетъ *проклятымъ*, ни по происхожденію изъ семьи, не отличавшейся особенно высокимъ умственнымъ развитіемъ и серьезными интересами, не могъ быть *мыслителемъ*, въ смыслѣ Байрона или Гейне, а былъ только, по выраженію Бѣлинскаго, *поэтомъ-художникомъ*, т.-е. довольно объективнымъ поэтомъ; дѣятельность его, являясь иногда результа-

омъ минутнаго впечатлѣнія, носила въ себѣ иногда и противорѣчія. Но не надобно забывать, что тогда менно только такой художникъ и могъ имѣть мѣсто въ печати и написать столько, сколько написалъ Пушкинъ. Въ самой этой объективности наивной его поэзии, на что у насъ нападали, заключается для потомковъ своего рода достоинство. Пушкинъ, подобно своему безсмертному Пимену, — вѣрный лѣтописецъ своего времени со всѣмъ, что было въ немъ хорошаго и дурнаго; его сочиненія, по крайней мѣрѣ, большая часть, *для насъ, русскихъ*, суть именно тѣ книги, въ которыхъ, по собственному выраженію поэта,

Отразился вѣкъ,

И современный челоѣкъ
Изображенъ довольно вѣрно
Съ его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданный безмѣрно,
Съ его озлобленнымъ умомъ,
Кипящимъ въ дѣйствіи пустомъ.

(«Евг. Он.», гл. VII, стр. XXII).

И если историкъ считаетъ лѣтопись самымъ важнымъ источникомъ для изученія вѣка, то подѣ часъ живая лѣтопись Пушкина представляетъ великолѣпный матеріалъ для знакомства съ жизнью нашей недавней старины.

Вотъ какія соображенія заставляютъ насъ, отнюдь,

конечно, не имѣя претензіи въ скромныхъ очеркахъ сказать что-нибудь новое о такомъ поэтѣ, какъ Пушкинъ, попробовать *только по однимъ художественнымъ произведеніямъ* поэта представить въ *самыхъ общихъ чертахъ наиболее крупныя явленія* именно только *русской жизни*, на сколько они замѣчены Пушкинымъ. Другими словами, мы просто хотимъ попробовать въ общихъ чертахъ напомнить читателямъ, какую представлялась поэту Русь двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ, *ея природа, положеніе крестьянъ, юсиода* вообще и въ частности и *русская женщина*; а изъ этой общей картины читатель уже самъ увидить, насколько Пушкинъ имѣетъ право называться поэтомъ, къ памятнику котораго «не заростетъ народная тропа», и насколько «пробуждаѣтъ онъ въ людяхъ лирой добрыя чувства» и «возбуждаѣтъ милость къ падшимъ».

1.

ПРИРОДА.

Проведя большую часть своего дѣтства въ деревнѣ, среди природы, живя нерѣдко подолгу въ своихъ имѣніяхъ, куда поэтъ уѣзжалъ отдохнуть отъ шума и пустоты свѣтской жизни, гдѣ написаны имъ лучшія его произведенія, и гдѣ, какъ въ Михайловскомъ, провелъ онъ невольнымъ отшельникомъ цѣлыхъ два года; изъѣздивъ чуть не всю Русь въ свои вольныя и невольныя поѣздки по Россіи, Пушкинъ въ своихъ сочиненіяхъ даетъ цѣлый рядъ картинъ «чисто русской природы». Эти картины, написанныя мастерской рукой художника, проявкнуты той любовью къ родинѣ, которую любить маѣ своего бѣднаго, больного, непригляднаго сына, потому что онъ, этотъ бѣднякъ,—ея кровное, родное дитя. Въ то время, когда въ литературѣ нашей съ особенной охотой живописались великолѣпные пейзажи изъ итальянской, на примѣръ, и иной роскошной, но чужеземной, природы, нашему поэту «нужны иныя

картины». Онъ любитъ «печальный косогоръ, передъ избушкой двѣ рябины, калитку, сломанный заборъ, на небѣ сѣренькія тучи, передъ гумномъ соломы кучи, да прудъ подъ сѣнью ивъ густыхъ, раздолье утокъ молодыхъ». Поэту, какъ и Лермонтову, въ своемъ стихотвореніи «Родина» явно ему подражавшему, «мила» даже «родная базалайка, да пьяный топотъ трепака, передъ дверями кабака». «Критикъ» подтруниваетъ надъ пристрастіемъ Пушкина къ изображенію «печальныхъ деревень», и поэтъ, въ отвѣтъ на насмѣшки, отвѣчаетъ изображеніемъ такого вида, отъ котораго нетрудно забыть о прелестныхъ пейзажахъ; «Избушекъ рядъ убогій, за ними черноземъ, равнины скатъ отлогій, надъ ними сѣрыхъ тучъ густая полоса. На дворѣ, у низкаго забора, два бѣдныхъ деревца стоятъ въ угоду взора, — два только деревца, и то изъ нихъ одно дождливой осенью совсѣмъ обнажено, а листья на другомъ размокли, и, желтѣя, чтобъ лужу засорить, ждутъ перваго Борея. И только». (*Капризъ*). Кому изъ насъ, бывавшихъ въ деревнѣ, не щемили души подобные веселенькіе пейзажи, и кто до Пушкина рѣшался писать о такихъ низкихъ предметахъ? И такія картины у Пушкина не рѣдкость, не исключеніе. Перелистуйте его лирику, «Онѣгина», «Нулина», — вездѣ тѣ же пустыри, поля безъ конца, точно нарочно приспособленные для охоты, бѣдныя деревни, убогія деревенскія кладбища, которыя милѣе поэту разукрашенныхъ памятниками городскихъ кладбищъ. Что-то дикое, нетронутое еще ни малѣйшей цивилизаціей, заволающей селенія, удобства жизни, про-

мышленность, видится у Пушкина въ этой широкой картинѣ нашей бѣдной родины, которая въ Пушкинскую эпоху была еще бѣднѣе, еще глуше, чѣмъ теперь. Сердце сжимается, когда читаешь эти страшные, если въ нихъ вдуматься, стихи, ученные нами наизусть еще въ дѣтствѣ: «По дорогѣ зимней, скучной, тройка борзая бѣжить... Ни огня, ни черной хаты, глушь и снѣгъ... Навстрѣчу попадаются однѣ полосатыя версты...» А тутъ еще эта томящая, тянущая душу, однообразная, долгая пѣсня ямщика, то дико разгульная, то полная сердечной тоски... этотъ пугающій волковъ однозвучный колокольчикъ... Ыдешь, ѣдешь безъ конца, и поневолѣ дѣлается страшно средь этихъ невѣдомыхъ равнинъ въ ясную ночь. Но ужасомъ охватываетъ душу въ этомъ безбрежномъ снѣговомъ морѣ, когда помчатся и завьются тучи, когда помутнѣетъ небо, и закрутитъ, зазлится, заплачетъ вьюга, надрывая жалобнымъ визгомъ и воемъ сердце. Невесело сидѣть зимнимъ бурнымъ вечеромъ и въ ветхой, печальной, темной лачужкѣ; и сюда доносятся этотъ звѣриный вой и дѣтскій плачь бури; страшно отзывается въ душѣ буря стукомъ въ окно, этотъ злобѣщій шумъ родной, обычной у насъ, нищенской соломенной кровли... Счастливы тотъ, кто сидитъ въ этой избенкѣ не одинъ, кому можно хоть съ дремлющей старухой перекинуться ласковымъ словомъ... И не даромъ Пушкинъ не любитъ рисовать наше лѣто, эту «картину южныхъ зимъ» — лѣто, по выраженію Бѣлинскаго, похожее столько же на лѣто, сколько декоративныя деревья въ театрѣ похожи на настоящія деревья

въ саду; поэтъ знаетъ, что характерныя времена года у насъ: «могучая зима, ведущая на насъ косматыя дружины своихъ метелей и снѣговъ», да грязная осень. Онъ первый это понялъ, и первый выразилъ. Вотъ почему вы встрѣтите у него много такихъ роскошныхъ картинъ этихъ временъ года со всѣми ихъ непріятностями, ужасами, прелестями, незатѣйливыми удовольствіями, въ видѣ охоты, поѣздокъ къ сосѣдямъ, интимныхъ бесѣдъ съ забравшимся въ деревенскую глушь пріятелемъ; съ этой, опять все той же, скукой, тоской одиночества, безлюдья, когда не съ кѣмъ промолвить живого слова, когда радъ даже болтовнѣ со старухой няней, пустому разговору съ сосѣдомъ; когда прогоняешь эту тоску охотой, одинокой прогулкой до усталости, до одуренія... Эта захолустная деревенская скука среди печальной природы и безлюдья описана у Пушкина во многихъ произведеніяхъ; и становится понятна эта мертвящая вѣковая спячка и нашего народа, и насъ самихъ, образованныхъ Обломовыхъ. Точно рѣдкіе оазисы въ громадной пустынѣ, разбросаны по Россіи одинокія колоніи, въ видѣ рѣдкихъ деревень и городовъ; и съ горькой ироніей поэтъ замѣчаетъ, что пути сообщенія, наводящіе ужасъ на всякаго путешественника, измѣняются у насъ развѣ «лѣтъ чрезъ пятьсотъ», современемъ, «когда мы отвинемъ болѣе границъ благому просвѣщенію» (Евг. Он.). А «пока», т.-е. въ двадцатыхъ годахъ, когда у насъ еще и помину не было о желѣзныхъ дорогахъ и порядочныхъ шоссе, поэтъ говоритъ что «у насъ дороги плохи, мосты забытые гніютъ, на

станціяхъ клопы и блохи заснуть минуты не даютъ: трактировъ нѣтъ». «Въ избѣ холодной, высокопарный, но голодный, для виду прейсъ-курантъ виситъ, и тщетный дразнить аппетитъ». Кому изъ ѣзжавшихъ по Россіи не знакомы эти, даже и теперь далеко не вездѣ поправившіеся, пути сообщенія со всѣми дорожными удобствами, такъ ярко нарисованные поэтомъ, не разъ оставливающимся на изображеніи нашихъ русскихъ дорогъ? Это-ли не наша Русь, по которой и до сихъ поръ путешествовать и дорого, и неудобно, и скучно, и гдѣ самые города, не говоря уже о маленькихъ, но даже такихъ, какъ Нижній или Одесса, даже старушка Москва и официальный Петербургъ (всѣ эти города очень мѣтко охарактеризованы поэтомъ въ «Онѣгинѣ» и мелкихъ стихотвореніяхъ) проникнуты той же мертвящей скукой безсодержательной и пустой жизни, какой эта жизнь и дѣйствительно была проникнута въ двадцатыхъ годахъ въ Россіи, кромѣ жизни незначительнаго меньшинства мыслящихъ людей, и теперь не особенно многочисленныхъ, но которые тогда считались единицами. Безотраднa эта страна метелей и снѣговъ, страна осенней невылазной грязи, тоже не забытой поэтомъ,— страна съ жалкимъ крошечнымъ лѣтомъ—«карикатурой южныхъ зимъ», съ пустырями и печальными селеніями, съ самыми первобытными путями сообщенія...

II.

КРЕСТЬЯНЕ.

Отъ изображенія Пушкинымъ русской природы, деревень, селеній и городовъ съ ихъ, такъ-сказать, внѣшней стороны, перейдемъ къ изображенію того народа, той массы крестьянскаго люда, которая составляетъ и до сихъ поръ громадное большинство населенія Россіи. Пушкина въ нашей литературѣ нерѣдко называли «барриномъ», помѣщикомъ до мозга костей, поэтомъ разныхъ барскихъ затѣй, вкусовъ, барскихъ чувствъ, пѣвцомъ вина и Эроса,—словомъ, пѣвцомъ, чуть не исключительно господскимъ. Въ доказательство этого, совершенно неосновательнаго, мнѣнія, приводилось множество пьесъ, большею частью произведеній ранней юности поэта, и такъ какъ при этомъ бралась только одна, извѣстная, часть многочисленныхъ его произведеній, а о многомъ умалчивалось совершенно, или упоминалось вскользь, то большинство нашей публики, не любящей не только серьезно вдумываться въ своихъ поэтовъ, но

даже и перечитывать ихъ, принимало это мнѣніе на вѣру. Безспорно, Пушкинъ, аристократъ и помѣщикъ по своему происхожденію, воспитанію и знакомствамъ, не могъ быть чуждъ интересовъ и недостатковъ своего сословія; но, внимательно прочитавъ все, что было до сихъ поръ писано о его жизни, и самыя его сочиненія, нельзя не придти къ тому убѣжденію, что въ своей жизни, своихъ отношеніяхъ къ низшей братіи, къ людямъ, по своему положенію поставленнымъ неизмѣримо ниже его, онъ оставался всегда простымъ, гуманнымъ человѣкомъ, возбуждалъ къ себѣ самую теплую симпатію, и, по смерти своей, оставилъ о себѣ воспоминаніе, какъ о величайшей уtratѣ. Довольно вспомнить отношенія Пушкина къ Кольцову, всѣмъ достаточно хорошо извѣстныя, къ этому простому, сравнительно съ «баринѣмъ» Пушкинымъ, почти мужику, Кольцову, который находилъ его гуманнѣе и проще всѣхъ другихъ литераторовъ Петербурга и Москвы, съ коими встрѣчался, и который оплакалъ рановременную утрату поэта въ трогательнѣйшей элегіи «Лѣсъ». Довольно вспомнить любовь Пушкина къ своей нянѣ, къ своимъ крестьянамъ, «застѣнчивымъ мольбамъ» которыхъ онъ, по своему собственному выраженію, «любилъ отвѣчать участіемъ»... Когда Пушкинъ умеръ, къ его гробу приходили не одни «господа». «Люди всѣхъ сословій,—говоритъ Анненковъ,—приходили поклониться гробу этого человѣка... Домъ его съ утра до вечера наполненъ былъ народомъ, а, при стеченіи многочисленнаго народа при отпѣваніи тѣла въ придворной конюшенной церкви, площадь пе-

редъ нею была покрыта толпами, которыхъ не могла вмѣстить церковь». Посѣщавшіе черезъ много лѣтъ по смерти поэта, уже въ пятидесятихъ годахъ, его могилу, его любимое село Михайловское, рассказываютъ, что память о немъ, какъ объ очень хорошемъ человѣкѣ, живо сохранилась въ этихъ мѣстахъ. Остававшіеся еще въ живыхъ старики изъ его прислуги и, вообще, изъ крестьянъ, говорили, что не видать ужъ имъ такого барина, какъ покойный Александръ Сергѣевичъ, а изъ рассказовъ этихъ людей и біографовъ покойнаго мы знаемъ, какъ Пушкинъ по цѣлымъ днямъ проводилъ съ крестьянами въ полѣ и въ избахъ, и какъ умѣлъ и любилъ съ ними бесѣдовать въ ту темную эпоху, когда большинство нашихъ помѣщиковъ едва считало своихъ крестьянъ за людей. Эту гуманность къ людямъ вообще, и къ простому человѣку въ частности, ярко выразилъ поэтъ и въ своихъ сочиненіяхъ. Правда, онъ не писалъ произведеній изъ крестьянскаго быта, въ родѣ тѣхъ, которыя гораздо позже явились у Тургенева, Григоровича и др. (да и невозможно было во время Пушкина много говорить о чемъ бы то ни было, относящемся къ крѣпостному праву); но, если собрать все, что написано поэтомъ по отношенію къ «простонародной» русской жизни въ разныхъ его сочиненіяхъ, то придется согласиться, что далеко не одни только «господскіе сюжеты» трогали сердце Пушкина. При всѣхъ недостаткахъ «проклятаго» своего воспитанія, при всей своей «аристократичности» и «барствѣ», онъ не только отлично понималъ все безобразіе существовавшего тогда

«крестьянскаго рабства», и видѣлъ въ этомъ жалкомъ рабѣ челоѣка, но и съумѣлъ, насколько было возможно, выразить это въ печати. Въ 1819 году, когда не появлялось еще даже «Руслана и Людмилы», когда Пушкинъ былъ еще только талантливымъ, подающимъ надежды, аристократическимъ юношей-кутилой, беззаботнымъ пѣвцомъ «Киприды, Вакха и Эрота», несмѣлымъ подражателемъ Державина, Жуковскаго и Батюшкова, — у этого же Пушкина, подъ вліяніемъ пребыванія его въ селѣ Болдино, складывается великолѣпнѣйшая элегія «Уединеніе». По глубинѣ мысли и яркой образности она принадлежитъ къ лучшимъ изъ вещей, когда-либо написанныхъ Пушкинымъ, а по своей гражданской подкладкѣ составляетъ одно изъ самыхъ смѣлыхъ произведеній русской поэзіи, которое стало понятно намъ только тогда, когда, уже въ семидесятыхъ годахъ, оно было напечатано въ первый разъ вполнѣ въ исаковскомъ изданіи сочиненій Пушкина. Описавъ прелести своего барскаго отдыха въ «пустынномъ уголкѣ, пріютѣ спокойствія, трудовъ и вдохновенья», куда уѣхалъ поэтъ отъ «роскошныхъ пировъ, забавъ и заблужденій, отъ порочныхъ Цирцей», и гдѣ «невидимый потокъ» его жизни «лется на лонѣ счастья и забвенья»; описавъ свои прогулки и занятія «оракулами вѣковъ», т.-е. писателями, которые рождаютъ въ немъ «творческія думы», — Пушкинъ какъ будто опомнился, и говоритъ:

Но мысль ужасная здѣсь душу омрачаетъ:
Среди цвѣтущихъ нивъ и горъ
Другъ челоѣчества печально замѣчаетъ
Вездѣ невѣжества губительный позоръ.

Желѣзнымъ стихомъ, полнымъ патріотической скорби и возмущеннаго гуманнаго чувства, описываетъ онъ, какъ едва-ли описывалъ кто изъ нашихъ поэтовъ въ такой сжатой и яркой формѣ, ужасное положеніе своей родины, изнывающей подъ ярмомъ крѣпостнаго права, гдѣ «рабство топче влачитъ по браздамъ неумолимаго владѣльца, гдѣ дѣвы юныя цвѣтутъ для прихоти злодѣя, гдѣ сыновья, товарищи трудовъ своихъ родителей, идутъ изъ родной хижины множить собою дворовыя толпы измученныхъ рабовъ»,—и заключаетъ свое чудное стихотвореніе, начатое такъ эпикурейски-успокоительно, слѣдующими безсмертными стихами, которые теперь, съ гордостью можетъ произнести потомокъ Пушкина, увидѣвшій въ царствованіе Александра II спасеніе Россіи отъ рабства:

Увижу-ль я народъ освобожденный
И рабство падшее по манію царя,
И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной
Взойдетъ-ли, наконецъ, прекрасная заря?!

Такъ началъ свою великую поэтическую дѣятельность (это стихотвореніе—первое вполне серьезное по мысли и блестящее по формѣ произведеніе поэта) этотъ «маленькій, миленькій» по словамъ Писарева, Пушкинъ, которому отказывали у насъ даже въ любви къ родинѣ. Такъ началъ Пушкинъ свою дѣятельность, призывая милость къ падшимъ и возбуждая въ соотечественникахъ добрыя чувства,—такъ и продолжалъ ее. Это «топче рабство», этотъ «тягостный яремъ» крѣпостнаго права изображалъ поэтъ до самой своей смерти, хотя,

опять-таки повторяемъ, онъ могъ касаться его только весьма осторожно. Такъ, въ «Онѣгинѣ» находимъ мы и «нищихъ мужиковъ» Гвоздина, «превосходнаго хозяина», и «яремъ старинной барщины», и мальчишку-казачка, подающаго у Лариныхъ сливки,—казачка въ родѣ тѣхъ, въ которыхъ состоялъ нѣкогда у своего барина поэтъ Тарасъ Шевченко,—и «сѣдаго калмыка, въ очкахъ. въ изорванномъ кафтанѣ», у княгини въ Москвѣ, и эту массу праздной, безшабашной дворовой челяди, необходимой принадлежности стариннаго русскаго барства, и этихъ служанокъ, которыхъ, не спросивъ мужа, бьетъ Ларина, и которыя на грядахъ собираютъ ягоды въ кустахъ и поютъ хоромъ по наказу:—

Наказъ, основанный на томъ,
Чтобъ барской ягоды тайкомъ
Уста лукавыя не ѣли
И пѣнемъ были заняты:—
Затѣя сельской простоты.

Наконецъ, въ этомъ же «Онѣгинѣ» находимъ мы совсѣмъ русскій образъ татьяниной няни, когда-то вострой дѣвчонки, рабской исполнительницы всякаго «слова барской воли», этой преданной господамъ Филиппевны «и не слыхавшей про любовь въ свои юные годы, выданной тринадцати лѣтъ замужъ». «Одинъ горькій плачь со страху» былъ нѣмымъ протестомъ этой бѣдной рабы крѣпостничества и невѣжества... Если въ «Онѣгинѣ» жизни простолюдина поэтъ коснулся только кстати, слегка, нѣсколькими мѣткими штрихами обрисовавъ и его дикія суевѣрія, то въ «Утопастникѣ» предъ нами неболь

шая, но страшная, полная знакомой правды, страница из жизни крестьянина, до того запуганного судомъ, до того забитаго, что только ради того, чтобъ избавиться отъ суда, онъ рѣшается пожертвовать своимъ, самымъ святымъ, религіознымъ убѣжденіемъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и покоемъ совѣсти. Вмѣсто того, чтобы предать тѣло несчастнаго утопленника съ «молитвой и крестомъ» землѣ, онъ «отталкиваетъ мертвеца весломъ отъ берега». Въ великолѣпномъ отрывкѣ, повидимому, изъ большого задуманнаго произведенія: *«Лѣтопись села Горохина»*, по своему характеру напоминающаго *«Исторію одного города»* Салтыкова, передъ нами цѣлая эпопея крѣпостничества, тѣмъ болѣе цѣнная, что рассказана она съ юморомъ необыкновеннымъ. Тутъ и трогательная встрѣча барченка дворовыми, и «баснословныя времена» Горохина, когда село было еще богато, а зажиточные жители собирали оброкъ единожды въ годъ и отсылали, невѣдомо куда, на нѣсколькихъ возахъ; когда не существовало приказчиковъ, старосты никого не обижали, обитатели работали мало, а жили припѣваючи, и пастухи стерегли стадо въ сапогахъ, — словомъ, — обычныя у бѣдняка мечтанія о какомъ-то стародавнемъ золотомъ вѣкѣ, котораго на самомъ дѣлѣ никогда не бывало. Тутъ и постепенное, столь обыкновенное у насъ, обвиняніе села, грозныя предписанія живущихъ гдѣ-то далеко господъ о скорѣйшей присылкѣ двойного оброка, и безтолковый мірской сходъ, и «скучныя отговорки и смиренныя жалобы, писанныя на засаленной бумагѣ и запечатанныя грошомъ», и безгра-

ый староста, избранный міромъ, и спящій гдѣ-то заборомъ, также почти неграмотный, земскій Авдѣй, раго приволакиваютъ къ присланному отъ господъ азчику, и ругательства этого ужаснаго незнакомца, рыя выслушиваютъ цѣлымъ міромъ съ полнымъ бострастіемъ, и знакомая фраза новаго правителя: «итрите вы у меня, не очень умничайте—вы, я знаю, дѣ избалованный; да я, небось, выбью дурь изъ ихъ головъ». Тутъ и безмолвное отчаяніе мужику, разошедшихся домой, повѣсивъ носы. Тутъ и на правленія приказчика, раздѣлившаго крестьянъ на бѣлыхъ и богатыхъ, и руководствовавшагося такими гическими соображеніями: «чѣмъ мужикъ богаче, тѣмъ избалованнѣе, чѣмъ бѣднѣе, тѣмъ смиреннѣе, а ность вотчины есть главная крестьянская добродѣль;» тутъ знаменитое и вѣчное взысканіе недоимокъ, дача бѣдныхъ мужиковъ въ батраки богатымъ, и утчина, и уничтоженіе мірскихъ сходокъ, и, наконецъ, полное обнищаніе села. Не забыты поэтомъ и мные пустыри и болота, «гдѣ произрастаетъ одна трава;» перечислены и естественныя произведенія села: овесъ, ячмень, гречиха, орѣхи, брусника, черника и грибы, и обильный торгъ лыками, лукошками, пеньками, и самый языкъ мужицкій, бѣдный и странненькій «со всякими сокращеніями и усѣченіями», обналичивающій жалкое умственное развитіе этихъ полудикихъ, и удовольствія — кулачные бои и пьянство, и иная жизнь, гдѣ сначала жены бьютъ своихъ тринадцатилѣтнихъ мальчишекъ-мужей, а потомъ уже «мужья

начинають. въ свою очередь, бить жентъ; и похороны, въ самый день смерти покойнаго, который иногда «чихаетъ или зѣваетъ въ ту самую минуту, когда его выносятъ за околицу»; и безобразная пьяная тризна по покойникѣ, и традиціонная мужицкая одежда: «рубаха, надѣваемая сверхъ нижняго платья, и овчинный тулупъ зимой, надѣваемый болѣе для красоты, нежели для настоящей нужды, ибо тулупъ обыкновенно надѣвали на одно плечо, и сбрасывали при малѣйшемъ трудѣ, требующемъ движенія». Не забыты также науки, искусства и поэзія, — единственные въ селѣ грамотѣи: священникъ, причетники, да какой-то земскій Трофимъ, прославившійся умѣньемъ писать обѣими руками, и даже ногой, а также сочиненіемъ челобитныхъ и приготовленіемъ фальшивыхъ паспортовъ; не забыта и обыкновенная кабацкая народная музыка — балалайка и во-лынка, и въ заключеніе приводится даже образецъ простонародной пѣсни:

Ко боярскому двору
Акимъ староста идетъ,
Бирки въ пазухѣ несетъ
Боярину подаетъ,
А бояринъ смотритъ,
Ничего не смыслить.
«Ахъ, ты, староста Акимъ!
Обокралъ бояръ кругомъ,
Село по-міру пустилъ,
Старостику подарилъ».

Не представляетъ-ли, въ самомъ дѣлѣ, этотъ маленькій отрывокъ «*Лѣтописи села Горохина*», написан-

еще въ 1830 году, когда у насъ и помину не было оstonародныхъ писателей, необыкновенно вѣрную кую картину крестьянской бѣдности и невѣжества? ли въ этомъ отрывкѣ, напечатанномъ уже по ги поэта, видимъ мы юморъ болѣе спокойный, изло-е поразительныхъ фактовъ крестьянской жизни е объективное, то въ элегіи «Капризь», увидѣв-свѣтъ только въ 1841 году, слышится глубокое гво скорби и сочувствіе къ темному, неустанному, енику. Описавъ печальную русскую деревню въ дливую, гнилую осень, когда на улицѣ «живой со-нѣтъ», поэтъ такъ заключаетъ свою пьесу:

Ютъ, правда, мужичокъ, за нимъ двѣ бабы встѣдъ.
 изъ шапки онъ, несетъ подъ мышкой гробъ ребенка
 кличетъ издали лѣниваго попенка,
 гробъ тотъ отца позвалъ, да церковь отворилъ:
 юрѣй, ждаты некогда, давно-бъ ужъ схоронилъ».

Въ томъ же 1830 году вышли, относительно слабыя, дотическія по характеру, «*Повѣсти Бѣлкина*», ри-ція почти исключительно помѣщичью жизнь. Но и въ этихъ талантливыхъ бездѣлкахъ вниматель-читатель подмѣтитъ недурную иллюстрацію кре-вскаго быта, напимѣръ, въ отношеніяхъ господъ рошенькимъ крѣпостнымъ дѣвушкамъ. Въ рассказѣ *«Маша-крестьянка»* горничная Настя, въ простодуш-наивности, не безъ удовольствія рассказываетъ ба-нѣ, какъ молодой баринъ игралъ съ ними, дѣвуш-, въ горѣлки, и цѣлый день съ ними провозился. ь же сельскій ловелась, «привыкнувъ не церемо-

ниться съ хорошенькими поселянками», только-что встрѣтивъ въ лѣсу переодѣтую барышню, «уже хотѣлъ было обнять ее». Черты именно *крѣпостныхъ* нравовъ видятся въ этихъ повѣстяхъ и въ томъ, что дворовыя дѣвушки, безпрекословныя исполнительницы всякой барской воли, не задумываются помочь побѣгу барышни изъ родительскаго дома, а крѣпостной кучеръ преспокойно везетъ ее ночью вѣнчаться Богъ знаетъ какъ и съ кѣмъ («Метель»). Стоитъ этой испорченной въ конецъ дворовой челяди бросить подачку, или застращать ее—и она готова на все, что угодно. Эта челядь особенно ярко обрисовывается въ великолѣпной по началу, но, къ сожалѣнію, очень мелодраматизированной повѣсти «Дубровский» *). Здѣсь челядь богатаго самодура-помѣщика не только терпитъ самыя вопіющія безобразія, не только платитъ своею шкурою за малѣйшую ничтожную провинность, но даже самодовольно гордится своимъ положеніемъ. «Мы на свое житье,—говоритъ псарь Троекурова,—благодаря Бога и барина, не жалуемся; иному и барину не худо бы промѣнять усадьбу свою на любую здѣшнюю конуру». Рядомъ съ этой челядью рисуется въ повѣсти крестьянское житье, бѣдное и голодное,—даже не жизнь, а какое-то жалкое прозябаніе, при которомъ попорно всякое человѣческое достоинство, при которомъ возможно только терпѣніе и апатія. «Не наше дѣло разбирать барскія ихъ воли,—говоритъ

*) Написана въ 1832 г., но напечатана опять-таки по смерти автора въ 1841 г.

въ повѣсти кучеръ Антонъ про вражду господъ, — плетью обуха не перешибешь». Но и это терпѣніе иногда переполнялось. Боязнь перейти во владѣніе къ Троекурову, который «съ чужихъ крестьянъ не только шкуру сдеретъ, но и мясо», приводитъ этихъ людей сначала къ глухому ропоту на все происходящее, а потомъ и къ открытому сопротивленію властямъ, когда онѣ нагло врываются въ имѣніе Дубровскаго. И только любовь къ молодому барину удерживаетъ крестьянъ отъ «безсмысленнаго и безпощаднаго, по собственному выраженію Пушкина, русскаго бунта». Но это же, дошедшее до крайности, ожесточеніе и эта же любовь приводитъ крестьянъ Дубровскаго къ безчеловѣчному сожженію четырехъ живыхъ людей въ запертомъ домѣ и къ разбою.

За этой мрачной картиной рабскаго нахальства дворян и крестьянскаго ожесточенія, въ послѣдніе же годы своей жизни поэтъ перешелъ въ повѣсти *«Капитанская дочка»* къ изображенію народныхъ волненій при Пугачевѣ и, не пощадивъ красокъ на описаніе всѣхъ ихъ ужасовъ, далъ читателю отдохнуть на трогательномъ образѣ Савельича—этого вѣрнаго раба, умирающаго, подобно Васкѣ Шебанову, за своего господина, — и въ самомъ злодѣѣ, бунтовщикѣ Пугачевѣ, съумѣлъ отыскать человѣческія стороны. Этотъ темный, безпощадный представитель безсмысленнаго русскаго бунта, при всѣхъ своихъ злодѣйствахъ, носить въ сердцѣ благородность къ тому, кто нѣкогда человѣчно отнесся къ нему, когда онъ былъ еще только бѣднымъ, никому

вѣдомымъ, сѣрымъ мужикомъ. Въ этомъ Пугачевѣ видите вы и нашу русскую, подчасъ совершенно бессмысленную, удадь,—удаль отчаянія, какую-то стихійную, не направленную ни на что путное, силу, и стремленіе ~~можига~~, т.-е. по пьянствовать и натѣшиться вволю,—пожить хоть день, хоть часъ, безъ оглядки на прошлое, безъ думы о будущемъ, какъ живетъ часто и до сихъ поръ русскій простолюдинъ, попавшій въ случай, а то и нарочно совершающій самыя гнусныя преступленія, ради одного только неудержимаго стремленія хоть разъ въ жизни потѣшить свою, не смятаемую никакимъ образованіемъ, а все же человѣческую, душу.

Нѣсколько ранѣе «Капитанской дочки» написалъ Пушкинъ «*Русалку*»—эту дивную, единственную, вещь, хотя и обставленную подробностями жизни древнѣйшей, почти языческой. Руси, но настолько народную, что въ этой самой отдаленности отъ насъ видится все та же, современная намъ, крестьянская, простонародная, Русь. Видится она и въ этомъ образѣ соблазненной баринкомъ княземъ дѣвушки, и въ этомъ протестѣ оскорбленной любви, выражаемомъ въ слезахъ и самоубійствѣ, и въ этихъ подаркахъ, которыми князь хочетъ заплатить за любовь простолюдинкѣ, и въ этихъ практическихъ совѣтахъ мельника-отца, рассчитывающаго, «коли ужъ нѣтъ надежды на свадьбу, по крайней мѣрѣ, выгадать какой-нибудь барышъ или пользу» отъ барина, и снисходительный взглядъ на барскія проказы, къ которымъ народъ уже слишкомъ привыкъ, и взглядъ на женщину,

какъ на дуру-бабу, и наконецъ, это страшное позднее раскаяніе, когда у отца единственное сокровище погнбло изъ-за пошлыхъ расчетовъ. Тутъ же опять таже русская челядь—эти псары, пособники барскихъ потѣхъ, и нянюшка-мамушка, и пѣсни, и свадьба, и чисто русскія русалочныя повѣрья,—словомъ, вся простонародная Русь, какою она была нѣсколько вѣковъ назадъ, и какой, по большей части, осталась еще и до сихъ поръ. А эта русская простая дѣвушка, сильная въ своей любви и за любовь умирающая сама, даже не помысливъ о мести тому, кому отдала въ жизни все... Кто же, кромѣ Пушкина, этого «пѣвца Эраста и Кириды», такъ гуманно, симпатично, высоко-художественно представлялъ въ тридцатыхъ годахъ русскую крестьянку?

Кажется, приведенныхъ примѣровъ достаточно, чтобъ убѣдиться, что Пушкинъ былъ не только поэтъ-художникъ, такъ сказать, безотносительный,—какъ выражались еще недавно,—поэтъ искусства для искусства; но и поэтъ, первый сказавшій много именно о нашей русской жизни, и не только русской «барской», но и *крестьянской, простонародной*. И не только изобразилъ поэтъ эту жизнь ярко и правдиво, насколько это было возможно въ современную ему, глухую, эпоху недавняго «рабства, павшаго по манію Царя», но и отнесся къ этой жизни, и къ этому люду, какъ мы видѣли, не свысока, не съ насмѣшкой, не съ сознаніемъ своего барскаго превосходства, не съ сантиментальною слезливостію и умиленіемъ передъ бѣдными мужичками, но здраво, просто и человѣчно, не лѣстя народу, не скры-

вая безобразій его невѣжества, и въ тоже время глубоко чувствуя горе этого народа. Такъ, въ Пушкинское время, да и потомъ, до Григоровича—«Деревня», «Антонъ Горемыка»—и «Записокъ охотника», къ народу не относился ни одинъ русскій писатель. И если великія государственныя реформы совершаются въ значительной степени подъ вліяніемъ указаній на нихъ литературы, то крестьянская реформа, давшая нашему Государю великое прозвище Царя-Освободителя, должна считать первымъ своимъ пособникомъ въ художественной литературѣ не кого другого, какъ перваго русскаго поэта, Александра Сергѣевича Пушкина. А такихъ поэтовъ своихъ, которые, благородно мысля и чувствуя, указывали родинѣ свѣтъ, хотя бы въ далекомъ будущемъ, страна не забываетъ никогда.

III.

ГОСПОДА.

I.

До сихъ поръ мы говорили о томъ, какою представлялась поэту русская природа и крѣпостные крестьяне;— посмотримъ теперь на тѣхъ, кому, благодаря крестьянину, жилось сытно и тепло, и кто, по своему привилегированному положенію, не заботясь о дневномъ пропитаніи, могъ жить, какъ хотѣлъ и умѣлъ. Словомъ, переходимъ теперь къ «господамъ», неслужащимъ и служащимъ дворянамъ.—большую частью, помѣщикамъ, жизнь которыхъ у поэта по преимуществу и изображается. Не прошло еще и шестидесяти лѣтъ со смерти Пушкина, и какая поразительная, едва понятная нашей молодежи, разница между Россіей тогдашней и нынѣшней! Какъ еще свѣжо преданіе, и съ какимъ трудомъ ему вѣрится! Въ произведеніяхъ перваго русскаго художника, лѣтописца общества, не въ его немногихъ прекрасныхъ исключеніяхъ, а въ огромномъ большинствѣ, это общество представляется современному намъ

человѣку какимъ-то полудикимъ, усвоившимъ себѣ едва только одну внѣшность европейской образованности, почти безъ всякихъ признаковъ общественности, въ смыслѣ общихъ разумныхъ интересовъ науки, искусства, сознательнаго, сколько-нибудь критическаго, отношенія къ своей собственной личности, къ своимъ семейнымъ или общественнымъ отношеніямъ, къ закону, государству,—наконецъ, даже просто къ человѣческому достоинству. Посмотрите на эту жизнь, какъ изображается она, напримѣръ, въ «*Онѣгинъ*», въ повѣстяхъ и разсказахъ, во многихъ стихотворныхъ произведеніяхъ поэта:—какъ все здѣсь сѣро, безцвѣтно, пошло, посредственно (въ «*Онѣгинѣ*» поэтъ говоритъ прямо, что эта посредственность одна намъ по плечу и не страшна). А если и выдаются люди, то они—какіе-то больные, странные субъекты, въ родѣ, напр., Ленскаго, Алеко, отправляющагося искать свободы у дикарей-цыганъ, или богатыря-самодура Троекурова, мстителя, поджигателя и разбойника Дубровскаго, или бреттера Силью («*Вистрълъ*»). Какъ все здѣсь случайно,—чтобы не сказать—безмысленно;—все управляется минутнымъ порывомъ ничѣмъ не сдерживаемыхъ страстишекъ, и самая жизнь человѣка, не говоря уже о спокойствіи и правахъ, нисколько и ничѣмъ не обезпечена. Достаточно Онѣгину полюбезничать на балу съ Ольгой,—и Ленскій тотчасъ же вызываетъ его на дуэль, а Онѣгинъ изъ «ложнаго стыда» передъ старымъ дуэлистомъ, злымъ, рѣчистымъ сплетникомъ Зарѣцкимъ, буяномъ, атаманомъ картежной шайки, главой повѣсь и трактир-

нымъ трибуномъ», пзъ страха передъ «общественнымъ мнѣніемъ», которое поэтъ называетъ «хохотней глупцовъ», убиваетъ наповалъ своего пріятеля, и потомъ преспокойно разгуливаетъ по заламъ высшаго общества Москвы, даже не подвергшись ни малѣйшей карѣ закона. И какъ просто относится Онѣгинъ къ своему преступленію: съ перваго же слова секунданта говорить, «безъ лишнихъ словъ, «что онъ», молъ, «всегда готовъ»; «мертвымъ сномъ спить» ночь передъ дуэлью, и даже за минуту передъ роковымъ выстрѣломъ, не безъ насмѣшливаго достоинства представляетъ Зарѣцкому «своего друга», секунданта, камердинера monsieur Guillot, «хоть человѣка и неизвѣстнаго, но ужъ, конечно, честнаго малаго». Стоитъ въ пьяной офицерской компаніи, изъ цѣлаго десятка представителей интеллигенціи, стереть съ ломбернаго стола по разсѣянности невѣрно поставленную записку,—и обиженный офицеръ, въ присутствіи достойныхъ своихъ товарищей, тотчасъ же въ бѣшенствѣ схватываетъ мѣдный шандаль и пускаетъ его прямо въ лобъ оскорбителю («Вистрѣлъ»), а тотъ, знаменитый стрѣлокъ, сажающій пулю на пулю въ туза, не дерется на дуэли, но почему? Потому что бережетъ, видите-ли, свою жизнь, чтобы чудовищно отомстить въ послѣдствіи своему старинному врагу. И какъ же безчеловѣчно мститъ этотъ Сильвіо: попросту отправляется въ домъ только-что женившагося врага и едва не убиваетъ его въ присутствіи обезумѣвшей отъ отчаянія бѣдной его жены, которая на коѣбняхъ умоливаетъ злодѣя пощадить ея мужа!

Что за ужасныя вещи творятся въ этомъ полудикомъ обществѣ! Стоитъ Троекурову, у котораго пятьсотъ собакъ на псарнѣ, и устроенъ особый собачій лазаретъ, и даже родильный собачій пріютъ, пожелать потѣшиться надъ гостемъ,—и онъ запираетъ его, полумертваго отъ страха, въ комнату съ медвѣдемъ; стоитъ сосѣду, старику Дубровскому, оскорбленному нахаломъ-псаремъ, обидѣться—и этотъ готтентотъ Троекуровъ можетъ преспокойно отнять у него, при посредствѣ дрожащихъ передъ богачемъ губернскихъ судебныхъ властей, все родовое имѣніе. А какое ужасное дѣло совершается, напримѣръ, въ разсказѣ «Метель», напоминающемъ наше древнее «умыканіе» невѣстъ! Юный гусарь Бурминъ, въ метель, ночью, сбившись съ дороги, случайно наталкивается на деревенскую церковь, гдѣ ожидала запоздаващаго жениха невѣста. Ни мало не думая, герой, которому полуживая отъ волненія дѣвушка «показалась недурна» (sic), тутъ же, воспользовавшись недо-разуміемъ, преспокойно вѣнчается съ нею, и когда обманъ тотчасъ же послѣ вѣнчанія открылся, «бросается» поскорѣ «въ кибитку и кричитъ ямщику: «пошелъ». Что ужъ послѣ этого безобразный поступокъ другого гусара, увезшаго самымъ наглымъ образомъ, при помощи подкупленнаго врача, у «Станціоннаго смотрителя» его единственное дитя...

И какъ общество, изображенное Пушкинымъ, беззаботно и весело проводитъ время! Жизнь этихъ господъ,—жизнь вѣчнаго, непрерывнаго, праздника. Кутежи, охоты, обѣды, карты, любовныя похожденія, причемъ не брез-

гаютъ никакой случайной интрижкой; собаки, лихіе кони, мелкія сплетни, пустыя рѣчи,—вотъ содержаніе этой, поистинѣ, ужасной для всякаго, сколько-нибудь думающаго, человѣка, жизни нашего недавняго барства. И что всего ужаснѣе—это полное самодовольство общества, какаѣ-то даже гордость своимъ положеніемъ, полнѣйшее презрѣніе ко всему, что не принадлежитъ къ привилегированному помѣщичьему классу, или даже просто ко всему, что побѣднѣе и позабитѣе. Какими яркими чертами изобразилъ, напимѣръ, поэтъ положеніе старика станціоннаго смотрителя, отца Дубровскаго, гостей Троекурова и, какъ видѣли мы ранѣе, положеніе крѣпостныхъ крестьянъ.

Мы почитаемъ всѣхъ нулями,
А единицами себя;
Мы всѣ глядимъ въ Наполеоны,
Двуногихъ тварей миллионы
Для насъ орудіе одно.
Намъ чувство дико и смѣшно.

(«Евг. Онѣг.», гл. II, стр. XIV).

Конечно, нельзя не сознаться, что объективность пушкинскихъ картинъ, и особенно шутливый тонъ, съ которымъ поэтъ нерѣдко рисуетъ пустоту и ничтожность общества (напимѣръ, въ первыхъ пѣсняхъ «*Онегина*», въ «*Повѣстяхъ Бѣлкина*» и многихъ лирическихъ пьесахъ), нѣсколько ослабляютъ тяжесть впечатлѣнія изображаемыхъ явленій, и даже иногда, пожалуй, до нѣкоторой степени, мирятъ съ ними читателя; но очень ошибется тотъ, кто увидѣлъ бы въ Пушкинѣ не только

сочувствіе къ изображаемому имъ обществу, но да и индифферентное равнодушіе къ темнымъ сторонамъ послѣдняго. Эпикуреецъ по натурѣ, воспитанію и средствамъ къ жизни, поэтъ любилъ пожить весело и беззаботе анакреонтически, беря отъ жизни все, что она могла ему дать. Но, въ то же время, Пушкинъ, какъ необыкновенно умный человѣкъ и поэтъ великій, нерѣдко гдѣ бокозадумывался надъ пустой, безсодержательной, жизни того общества, къ которому принадлежалъ самъ, и клеймилъ это общество ѣдкой и колкой насмѣшкой. У поэта много страницъ глубоко скорбныхъ, показывающихъ, какъ ясно понималъ онъ многія, очень важныя отрицательныя, стороны русскаго общества, и какъ гдѣ боко возмущался ими и страдалъ *). Не говоря уже о нѣкоторыхъ лирическихъ пьесахъ, преимущественно послѣдняго періода его жизни, когда онъ особенно горько и презрительно относился къ такъ называемой «толпѣ» (напр., *«Поэту»*, *«Полководецъ»*, *«Кладбище»*); не говоря о стихотвореніяхъ, гдѣ онъ выражаетъ желаніе уйти отъ этого общества, уединиться, отдохнуть отъ пошлости на лонѣ природы, въ самомъ *«Отцынѣ»* есть нѣсколько мѣстъ поразительныхъ, прямо показывающихъ, какъ смотрѣлъ Пушкинъ на это общество. Такъ въ концѣ VI-й главы, обрисовавъ уже петербургскую жизнь богатой молодежи, пошлую жизнь Лариныхъ блестящую будущность бѣднаго Ленскаго, которую по-

*) Не забудемъ, что сюжеты самыхъ глубокихъ произведеній Гоголя: *«Ревизора»* и *«Мертвыхъ душъ»* даны были Гоголемъ Пушкинымъ.

билъ легкомысленный повѣса, поэтъ, какъ бы спохватившись, что чересчуръ уже замечтался, забывъ о русской дѣйствительности, говоритъ:

А можетъ быть — и то: поета
Обыкновенный ждалъ удѣлъ:
Прошли бы юношества лѣта,
Въ немъ пылъ души бы охладѣлъ,
Во многомъ онъ бы измѣнился,
Равстался-бъ съ музами, женился;
Въ деревнѣ, счастливъ и рогатъ,
Носилъ бы стеганный халатъ;
Узналъ бы жизнь на самомъ дѣлѣ,
Подагру-бъ въ сорокъ лѣтъ имѣлъ,
Пилъ, ѣлъ, скучалъ, толстѣлъ, хирѣлъ,
И, наконецъ, въ своей постелѣ
Скончался-бъ посреди дѣтей,
Пласивыхъ бабъ и лѣкарей.

А затѣмъ, чрезъ нѣсколько строкъ, поэтъ обращается къ своему вдохновенію, трогательно прося убе-
есть его самого отъ пошлости:

А ты, младое вдохновенье,
Волнуй мое воображенье,
Дремоту сердца оживляй,
Въ мой уголъ чаще прилетай;
Не дай остыть душѣ поэта,
Ожесточиться, очерствѣть,
И наконецъ окаменѣть
Въ мертвящемъ упоеньи свѣта,
Среди бездушныхъ гордецовъ,
Среди блистательныхъ глупцовъ,
Среди лукавыхъ, малодушныхъ,
Шальныхъ, балованныхъ дѣтей,

Злодѣевъ и смѣшныхъ и скучныхъ,
 Тушыхъ, привязчивыхъ судей;
 Среди кокетокъ богомольныхъ,
 Среди холоповъ добровольныхъ,
 Среди всеневныхъ модныхъ сценъ,
 Учтивыхъ, ласковыхъ измѣнъ;
 Среди холодныхъ приговоровъ
 Жестокосердой суеты,
 Среди досадной пустоты
 Разчетовъ, думъ и разговоровъ,—
 Въ семь омутъ, гдѣ съ вами я
 купаюсь, милые друзья!

Этотъ *омутъ* характеризуется поэтомъ и въ описаніи нашихъ общественныхъ разговоровъ, вторые и до сихъ поръ такъ небогаты содержаніемъ:

Всѣхъ въ гостиной занимаетъ
 Такой безсвязный, пошлый, вздоръ,
 Все въ нихъ такъ блѣдно, равнодушно;
 Они клеветаютъ даже скучно;
 Въ безплодной сухости рѣчей,
 Вопросовъ, сплетенъ и вѣстей,
 Не вспыхнетъ мысли въ цѣлы сутки,
 Хоть невзначай, хоть на-обумъ;
 Не улыбнется томный умъ,
 Не дрогнетъ сердце, хоть для шутокъ,—
 И даже глупости смѣшной
 Въ тебѣ не встрѣтишь, свѣтъ пустой!

Но особенно грустнымъ юморомъ и горькимъ раздумьемъ надъ легкомысленно проведенной молодостью и надъ положеніемъ поэта среди этого общества, проникнуты X и XI строфы VIII-й главы «Онѣгина»:

Блаженъ, кто съ молоду былъ молодь,
 Блаженъ, кто во-время созрѣлъ,
 Кто постепенно жизни холодъ
 Съ лѣтами вытерпѣть умѣлъ;
 Кто страннымъ снамъ не предавался;
 Кто черни свѣтской не чуждался;
 Кто въ двадцать лѣтъ былъ франтъ иль хватъ;
 А въ тридцать выгодно женатъ;
 Кто въ пятьдесятъ освободился
 Отъ частныхъ и другихъ долговъ;
 Кто славы, денегъ и чиновъ
 Спокойно, въ очередь, добился;
 О комъ твердили цѣлый вѣкъ:
 N. N. прекрасный человѣкъ!
 Но грустно думать, что напрасно
 Была намъ молодость дана,
 Что измѣняли ей всечасно,
 Что обманула насъ она;
 Что наши лучшія желанья,
 Что наши свѣжія мечтанья
 Истлѣли быстрой чередой,
 Какъ листья осенью гнилой.
 Несносно видѣть предъ собою
 Однихъ обѣдовъ длинный рядъ,
 Глядѣть на жизнь, какъ на обрядъ,
 И вслѣдъ за чинною толпою
 Идти, не раздѣляя съ ней
 Ни общихъ мнѣній, ни страстей!

II.

гой, такъ сказать, *общей* картины жизни на-
 сподъ и отношенія къ ней Пушкина перейдемъ

къ разсмотрѣнію нѣкоторыхъ, наиболѣе крупныхъ, явленій ея въ частности. Каково было, напримѣръ, воспитаніе этихъ людей, чему и какъ они учились? Воспитаніе также останавливало вниманіе поэта, до самой своей смерти не перестававшаго сѣтовать на недостатки своего собственнаго воспитанія. Въ «*Борисъ Годуновъ*» онъ даже посвящаетъ этому предмету небольшую, прекрасную сцену, между царемъ и его учащимся сыномъ. Надо сознаться, что эта, наиболѣе слабая, сторона русской жизни изображена поэтомъ чрезвычайно ярко. «Мы всѣ учились понемногу, чему-нибудь и какъ-нибудь — говоритъ онъ въ «*Онѣгинѣ*», — такъ воспитаньемъ, слава Богу, у насъ не мудрено блеснуть». «Намъ воспитанье не пристало, и намъ осталось отъ него жеманство, больше ничего». Эта воспитательная сторона общества, даже высшаго, свѣтскаго, въ которомъ, «по мнѣнію многихъ, судей рѣшительныхъ и строгихъ», даже пустой болтунъ, нахватавшійся вершковъ, Онѣгинъ, считался «ученымъ малымъ», — поистинѣ, ужасна. Въ самомъ дѣлѣ, въ сочиненіяхъ Пушкина мы видимъ или полнѣйшее невѣжество, воспитаніе почти такое же, какое въ прошломъ вѣкѣ давала Митрофану Простакова, — таково, напримѣръ, воспитаніе стариковъ Лариныхъ; — или воспитаніе только чисто-внѣшнее, для виду, для свѣта, требующаго одной французской болтовни и манеръ; и кто, какъ Онѣгинъ, «можетъ совершенно изъясняться по-французски и писать, ловко танцевать мазурку и непринужденно кланяться», да еще съ нахальной развязностью болтать о чемъ угодно,

тотъ уже считается «умнымъ и очень милымъ» человекомъ. Извѣстныя строфы изъ первой главы «*Онтинна*», гдѣ описывается, какое воспитаніе получилъ этотъ юноша, и до сихъ поръ, къ сожалѣнію, очень часто могутъ служить намъ живымъ укоромъ. «Потолковать о Ювеналѣ» (котораго самого мы и не читывали), «въ концѣ письма поставить vale»; изъ всей ученной въ школѣ латыни «помнить», и то «не безъ грѣха, изъ «Энеиды» два стиха; бранить Гомера, Теокрита», о которыхъ мы часто и въ переводѣ-то не имѣемъ понятія; особенное невѣжество въ политическихъ наукахъ, напримѣръ, въ исторіи и политической экономіи, о которыхъ мы однако свободно болтаемъ, какъ Хлестаковъ о литературѣ; тупоуміе, въ родѣ неспособности отличать даже ямбъ отъ хорей,—о, какъ все это, изображенное поэтомъ еще въ двадцатомъ году, до сихъ поръ намъ знакомо и близко! Какъ боимся мы и до сихъ поръ, подобно Онѣгину, всякой серьезной мысли, всякой «строгой морали», которой и «не докучалъ» Онѣгину его воспитатель! И кто же, у Пушкина, воспитатели этого молодого поколѣнія, надежды и цвѣта государства? Съ одной стороны, вѣрные Савельичи, барскаго добра и дѣлъ рачители, крѣпостныя нянюшки съ своими «страшными разсказами» (и это еще едва ли не лучшіе воспитатели); съ другой—убогіе чужеземные пришельцы, французскія гувернантки и англійскія миссъ («*Барышня-крестьянка*», «*Онтиннъ*»), да гувернеры, которыхъ «прогоняютъ со двора», какъ въ «*Онтиннѣ*» monsieur l'abbé, за практическое обученіе

«наукѣ страсти нѣжной», или же травятъ для потѣхи медвѣдями, какъ Троекуровъ Дубровскаго. И ни одно плодотворное зерно мысли чистой, человѣческой, не западаетъ въ эти юныя, не обременяемыя никакой наукой, головы. А что же дѣлаютъ родители этихъ дѣтей, каково ихъ участіе въ воспитаніи своего дѣтища? Да никакого, такъ-таки рѣшительно никакого, кромя развѣ собственныхъ примѣровъ, вліяющихъ на ребенка. Отецъ Онѣгина занятъ своей «отличной и благородной службой», даетъ ежегодно три бала, живя долгами; и, наконецъ, разорившись, умираетъ», предоставивъ сына судьбѣ; Троекуровы занимаются псарней и травятъ зайцевъ; Муромскіе—англійскимъ паркомъ (*«Барминья-крестьянка»*), а отецъ Татьяны, «не читая никогда» ровно ничего и «почитая книги пустой игрушкой, и не заботился о томъ, какой у дочки тайный томъ дремалъ до утра подъ подушкой». Иногда, правда, родители посылали сына учиться за границу; но и изъ этого также выходило мало проку. Возвращаясь въ Россію, откуда уѣхалъ еще ребенкомъ, мальчикъ, которому только еще слѣдовало бы начать учиться, формировался или въ Нулина, напоминающаго Иванушку въ «Бригадирѣ», фонъ-Визина, или въ Ленскаго, этого, немножко безтолковаго, восемнадцатилѣтняго юношу, съ восторженною рѣчью о всякихъ серьезныхъ вещахъ, которыя онъ едва-ли понималъ, и которыя не помѣшали ему затѣять свой нелѣпый романъ, писать пустые, безсодержательные, стихи «къ лунѣ» и «къ ней», и, наконецъ, даже погибнуть, Богъ знаетъ изъ-за какого вздора.

Такъ приготовляюсь къ жизни это молодое, вполне обезпеченное крѣпостнымъ правомъ, поколѣніе, подобно самому Пушкину, оканчивавшее все свое «воспитаніе», едва достигнувъ семнадцати-восемнадцатилѣтняго возраста.

И выходили же изъ этихъ бѣдныхъ недорослей, окончательно довоспитанныхъ самою жизнью, субъекты удивительные! Въ сочиненіяхъ Пушкина мы встрѣчаемъ, по большей части, только слѣдующія разновидности нашего общества. Это—или *богатыри*, въ родѣ Троекурова, Сильвіо, гусаровъ въ «Станціонномъ смотрителѣ» и «Метели», «Дубровскаго-сына»; или *чиновные* люди, какъ мужъ Татьяны, который «важенъ, красить волосы и чиномъ отъ ума избавленъ», и отецъ Полины («*Рославлевъ*»), заслуженный человѣкъ, т.-е. «ѣздилъ пугомъ и имѣлъ крестъ и звѣзду; впрочемъ, былъ вѣтренъ и простъ»; или веселые *ловеласы*, артисты страсти нѣжной, въ родѣ графа Нулина, офицера въ «*Домика въ Коломнѣ*», Берестова въ «*Метели*»; или же, наконецъ, простоватые *байбаки-помѣщики*, начиная съ Ларина и кончая всѣми этими разнообразными пошляками, съѣзжающимися на именины къ Татьянѣ.

Что же «читаетъ» это общество? Нельзя-ли по Пушкину получить какое-нибудь понятіе о книгахъ, составлявшихъ въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ умственную пищу нашего помѣщичьяго класса? Чрезвычайно жалкою представляется намъ въ сочиненіяхъ поэта эта русская отечественная словесность,—явленіе рѣдкое, случайное, очень скучное, никому не нужное, не имѣю-

щее никакой органической связи съ жизнью, не вызываемое потребностью, — что-то чрезвычайно дѣтское, безсодержательное, пустое, неинтересное. Какія-нибудь сочиненія Эмина, читаемыя Парашей («Домикъ въ Коломнѣ»), сочиненія Сумарокова — единственная русская книга въ большой библіотекѣ отца Полины («Рославлевъ»), старые календари, сонники, письмовники, новѣйшіе оракулы, какой-нибудь «*Благонамѣренный*», издаваемый на скверной, грязноватой, бумагѣ; «одинъ журналъ исполненъ приторныхъ похвалъ, тотъ брани пюсской; всѣ наводятъ зѣвоту скуки, чуть не сонъ»; немногіе хорошіе оригинальные проблески поэзіи, но и то, болѣею частью, навѣянные иностранной поэзіей; безсодержательные гармоническіе стихи — одни красивые звуки безъ серьезной мысли, которыми нельзя удовлетворяться тому, кто не хочетъ видѣть въ литературѣ одну забаву; совсѣмъ уже «одичалые переводы», болѣею частью романовъ, «запоздалыя оригинальныя сочиненія, гдѣ русскій умъ и русскій духъ зады твердить и лжетъ за двухъ, — вотъ и весь россійскій Геликопъ» («Евг. Он.»). Естественно, что, при жалкомъ состояніи литературы, своеобразными распространителями которой являются, на примѣръ въ провинціи, какіе-то «кочующіе купцы», («однажды къ Ларинымъ въ уединенье завозить кочующій купецъ глубокое творенье, Мартына Задеку, котораго уступаетъ наконецъ за три съ полтиною, вмѣстѣ съ разрозненной Мальвиной, взявъ еще за нихъ въ придачу собранье басенъ площадныхъ, грамматику, двѣ Петріады, да Мармонтеля третій томъ»).

русскія книги почти не читаются. Всякій, кто хочет обогатить себя хотя какими-нибудь познаніями, мыслями, тотъ запасается книгами иностранными, обыкновенно—французскими,—благо этотъ языкъ нерѣдко извѣстнѣе дѣтства лучше своего родного. И вотъ, такимъ-то образомъ составлялись въ нашихъ богатыхъ помѣщичьихъ домахъ цѣлыя библіотеки, большею частію, изъ сочиненій писателей XVIII вѣка. Но и тутъ какой хаосъ. какой сбродъ самыхъ разнохарактерныхъ сочиненій отъ Монтескье и Руссо до Кребильона включительно («Рославлевъ»), и отъ Гиббона, Манзони, Гердера, Шанфора, madame de Staël, Биша, Тиссо, скептическаго Беля, Фонтенеля, Байрона—до Фоблаза, до «пакостнаго романа», который, по словамъ Пушкина, «учить насъ любви» и уваженію къ женщинѣ. «Вотъ уже, слава Богу,—говоритъ Пушкинъ въ «Рославлевѣ»,—лѣтъ тридцать какъ бранятъ насъ бѣдныхъ за то, что мы по-русски не читаемъ и не умѣемъ (будто бы) изъясняться на отечественномъ языкѣ. Дѣло въ томъ, что мы и рады бы читать по-русски, но словесность наша, кажется, не старше Ломоносова, и чрезвычайно еще ограничена. Она, конечно, представляетъ намъ нѣсколько отличныхъ поэтовъ, но нельзя же отъ всѣхъ читателей требовать исключительной охоты къ стихамъ. Въ прозѣ мы имѣемъ только исторію Карамзина; первые два или три романа появились два или три года тому назадъ, между тѣмъ какъ во Франціи, Англіи и Германіи книги, она другой замѣчательнѣе, поминутно слѣдуютъ одна за другой. Мы не видимъ даже и переводовъ; а если

и видимъ, то, воля ваша, я все-таки предпочитаю оригиналы. Журналы наши занимательны только для нашихъ литераторовъ. Мы принуждены всѣ извѣстія и понятія черпать изъ книгъ иностранныхъ; такимъ образомъ, мы и мыслимъ на языкѣ иностранномъ (по крайней мѣрѣ, тѣ, которые мыслятъ и слѣдуютъ за мыслями человѣческаго рода). Въ этомъ признались мнѣ самые извѣстные наши литераторы. Вѣчныя жалобы нашихъ писателей на пренебреженіе, въ коемъ оставляемъ мы русскія книги, похожи на жалобы русскихъ торговкоу, негодующихъ на то, что мы шляпки наши покупаемъ у Сихлеръ, а не довольствуемся произведеніями костромскихъ модистокъ»...

При такомъ печальномъ положеніи нашего воспитаніе и образованія и жалкомъ умственномъ состояніи общества жалки и отношенія послѣдняго къ искусству и къ его представителямъ. У Пушкина есть нѣсколько извѣстныхъ всѣмъ, прекрасныхъ по формѣ, стихотвореній, на примѣръ, *«Поэтъ»*, *«Поэту»*, *«Чернь»*, *«Разговоръ книгопродавца съ поэтомъ»*, въ свое время возбуждавшихъ жаркую полемику и такъ строго осужденныхъ за высокомерное, яко-бы, отношеніе Пушкина къ толпѣ и желаніе поставить искусство въ какое-то исключительное, изолированное, положеніе, не имѣющее (будто бы) никакого отношенія къ «непросвѣщенной черни». Конечно, если взять эти произведенія, особенно *«Чернь»*, безотносительно, то, при страшно раздраженномъ, озлобленномъ, ихъ тонѣ, читатель справедливо можетъ упрекнуть поэта въ аристократическомъ индифферентизмѣ къ

интересамъ общества, и даже презрѣннѣе къ нему. Но, какъ намъ кажется, здѣсь только одно недоразумѣнїе, происходящее отъ недостаточно внимательнаго и одно-сторонняго взгляда на дѣло. Не отвергая, подобно нѣкоторымъ критикамъ, влїянїя на эти пьесы туманныхъ эстетическихъ нѣмецкихъ воззрѣнїй на искусство, а также, отчасти, влїянїя и аристократическаго кружка, въ которомъ Пушкинъ вращался; мы думаемъ, что эти пьесы, и особенно «Чернь»,—совершенно естественное порожденїе горькаго чувства, крайняго раздраженїя этимъ жалкимъ отношенїемъ къ искусству въ обществѣ нашихъ, такъ называемыхъ, образованныхъ, свѣтскихъ людей и современной Пушкину невѣжественной критики. И это тѣмъ справедливѣе, что стихотворенїя эти написаны еще тогда, когда о Бѣлинскомъ не было и рѣчи:—такъ, «Разговоръ» относится къ 1824 году, «Поэтъ» — къ 1827, «Чернь» — къ 1828 и «Поэту» — къ 1830. А что Пушкинъ понималъ вполне высокое значенїе поэта для родины и человѣчества, въ этомъ убѣждаютъ насъ, между прочимъ, стихотворенїе «Пророкъ», названное Мицкевичемъ лучшимъ стихотворенїемъ современной ему эпохи, и написанное еще въ 1825 году, и «Памятникъ», — одно изъ предсмертныхъ произведенїй Пушкина. Эти вещи созданы, вѣроятно, въ тѣ немногїя минуты, когда раздраженїе противъ «свѣтской черни», при каждомъ удобномъ случаѣ осмѣиваемой поэтомъ, уступало мѣсто болѣе спокойному состоянїю души. А что раздраженїе это, даже доходящее до крайности, и то обстоятельство, что Пушкинъ нерѣдко стыдился своего званїя

поэта въ Россіи, вслѣдѣ могли имѣть здѣсь мѣсто,—въ этомъ, кажется, достаточно можетъ убѣдить, приводимая поэтомъ, картина «холодной толпы, взирающей на поэта, какъ на заѣзжаго фигляра, если онъ глубоко выразить сердечный тяжкій стонъ» (*«Отвѣтъ анониму»*).

«Стихотворцы подвержены большимъ невыгодамъ и непріятностямъ. Не говорю объ ихъ обыкновенномъ гражданскомъ ничтожествѣ и бѣдности, вошедшей въ пословицу; о зависти и клеветѣ братіи, коихъ они дѣлаются жертвою, если они въ славѣ; о презрѣніи и пасмѣшкахъ, со всѣхъ сторонъ падающихъ на нихъ, если произведенія ихъ не нравятся. Но, кажется, что можетъ сравниться съ несчастіемъ, для нихъ неизбѣжнымъ,—разумѣемъ сужденіе глупцовъ? Однакожъ и это горе, какъ оно ни велико, не есть еще крайнее для нихъ. Зло самое горькое, самое нестерпимое для стихотворца, есть его званіе, прозвище, коимъ онъ заклеименъ. Публика смотритъ на него, какъ на свою собственность, считаетъ себя въ правѣ требовать отъ него отчета въ малѣйшемъ шагѣ. По ея мнѣнію, онъ рожденъ для ея удовольствія и дышетъ только для того, чтобы подбирать рѣшмы. Требуютъ-ли обстоятельства присутствія его въ деревнѣ—при возвращеніи его первый встрѣчный спрашиваетъ его: не привезли-ли вы намъ чего-нибудь новенькаго? Задумается-ли о разстроенныхъ своихъ дѣлахъ, или о болѣзни милаго ему человека, тотчасъ пошлая улыбка сопровождаетъ пошлое восклицаніе: вѣрно, что-нибудь сочиняетъ! Влюбится-ли онъ, красавица его покупаетъ себѣ альбомъ и ждетъ уже

адегін. Приѣдетъ-ли онъ къ человѣку, почти съ нимъ незнакомому, поговорить о важномъ дѣлѣ, или просто для развлеченія отъ трудовъ—тотъ уже кличетъ своего сына и заставляетъ мальчика читать стихи такого-то, и мальчишка угощаетъ стихотворца его же изуродованными стихами». (См. «Отрывокъ» 1835 г.). «Чарскій признавался, что привѣтствія, запросы, альбомы и мальчишки такъ ему надоѣдали, что поминутно онъ долженъ былъ удерживаться отъ какой-нибудь грубости» («Египетскія ночи»). Отсюда понятно, что пушкинскій Чарскій, на каждомъ шагу выводимый изъ терпѣнія, «употребляетъ всевозможныя старанія, чтобы снять съ себя несносное прозвище поэта, избѣгаетъ общества своей братіи литераторовъ, и предпочитаетъ имъ свѣтскихъ людей, даже самыхъ простыхъ», всячески стараясь избѣгать разговоровъ о литературѣ и заставляя видѣть въ немъ самомъ свѣтскаго пошляка, охотника до лошадей, игрока, гастронома,—словомъ, кою угодно, только не литератора. Это странно, мелочно и пошло для человѣка, одареннаго талантомъ и душой, но на самомъ дѣлѣ, въ двадцатыхъ-тридцатыхъ годахъ, было именно такъ со многими изъ лучшихъ нашихъ литераторовъ, и самъ Пушкинъ, съ любовью отдѣлывавшій свои, такъ и не конченныя, «Египетскія ночи», во многомъ напоминаетъ Чарскаго своею собственною жизнью и отношеніями.

Въ подтвержденіе справедливости приведенныхъ мыслей Пушкина о положеніи у насъ литератора и критики ссылаемся, между прочимъ, на «Литературныя воспоминанія Панаева», статью Эртаулова объ «Измайловѣ»

(«Дѣло» № IV, 1874 г.), статьи Пятковского о журналистикѣ, «Очерки гоголевскаго періода русской литературы» и многія другія статьи о литературѣ того времени, не говоря уже объ Анненковѣ и множествѣ воспоминаній въ «Русской Старинѣ».

Обращаясь опять къ сочиненіямъ Пушкина, попробуемъ по разбросаннымъ тамъ и сямъ фактамъ остановиться еще на минуту на эстетической сторонѣ изображаемаго Пушкинымъ общества. Искусство здѣсь только случайная игрушка, мода, пустое баловство, которому никто и не придаетъ значенія. Болѣе всего пользуются уваженіемъ *танцы* — необходимое условіе образованія, а изъ театральныхъ представленій *балетъ* — выставка красивыхъ тѣлесныхъ формъ, — балетъ, имѣющій своихъ особыхъ цѣнителей и знатоковъ, да *кулинарное искусство*, также насчитывающее не мало знатоковъ-гастрономовъ. Музыка, такъ развивающаяся у насъ въ послѣднее время, ограничивается *гитарой*, на которой сентиментальныя барышни затягиваютъ: «О, рыцарь молодой! Приди въ чертогъ ко мнѣ златой»; кое-гдѣ въ богатыхъ домахъ обучаютъ игрѣ на *фортепіано*, и опять-таки барышнѣ; но и онѣ, какъ и гитаристки, смотрятъ на музыку болѣе практически, — какъ на средство уловлять жениховъ. Существуютъ *оркестры*, кромѣ составленныхъ изъ крѣпостныхъ, обыкновенно полковые, но больше опять-таки для танцевъ, да для игры во время обѣда или ужина. Даются, правда, заѣзжими артистами *концерты*, бываетъ наѣздомъ и итальянская *опера*, но это — достояніе однихъ немногихъ

столичныхъ богачей, изъ моды старающихся казаться любителями музыки, или ѣдущихъ въ концертъ и въ оперу только потому, что туда ѣдутъ всѣ,—да записныхъ меценатовъ, о которыхъ Пушкинъ устами своего Чарскаго выражается просто и ясно: «Чортъ ихъ побери». Есть въ этомъ обществѣ и *живопись*, не идущая далѣе *альбомныхъ* картинокъ; есть, наконецъ, и *поэзія* въ видѣ *мадригаловъ*, да «злодѣйскаго *стишка* армейскаго питы», да многого множества *альбомныхъ* стихотвореній...

Понятно, что въ такомъ полудикомъ обществѣ, какъ уже сказали мы выше, положеніе случайно попавшаго въ него истиннаго художника или серьезнаго литератора, вообще, было самое печальное. Въ этомъ отношеніи особенно цѣнны для насъ два произведенія Пушкина: «*Египетскія ночи*» и «*Рославлевъ*». Въ первомъ мы встрѣчаемъ не только поразительное для всякаго иностранца равнодушіе нашего, самаго отборнаго, высшего круга къ искусству (импровизаторъ), но, даже уже вовсе не свѣтское, неумѣніе вести себя по отношенію къ этому импровизаторскому сеансу и къ этому, Богъ его знаетъ, какого званія итальянцу. Во второмъ произведеніи разсказывается исторія курьезнѣйшая, часто повторяющаяся у насъ еще и до сихъ поръ съ пріѣзжими иностранными знаменитостями въ наукѣ и искусствѣ.

Пріѣхала въ Москву передъ двѣнадцатымъ годомъ знаменитая Сталь. «Русскіе засуетились; не знали, какъ угостить славную иностранку и, разумѣется, стали да-

вать ей обѣды, глазѣли на нее и были, по большей части, недовольны ею, видя въ ней пятидесятилѣтнюю толстую бабу, одѣтую не по лѣтамъ. Тонъ ея не понравился, рѣчи показались слишкомъ длинны и рукава слишкомъ коротки». Одинъ богатый князь далъ ей большой обѣдъ, «на который скликалъ всѣхъ московскихъ умниковъ. Умники были гораздо болѣе довольны ухомъ князя, нежели бесѣдою сочинительницы *«Коринны»*. Дамы чинились. Тѣ и другіе только изрѣдка прерывали молчаніе, убѣжденные въ ничтожности своихъ мыслей и оробѣвшіе въ присутствіи европейской знаменитости. Вниманіе гостей раздѣлено было между блюдами и m-me de Staël. Ждали отъ нея поминутно bon mot; наконецъ, вырвалось у нея двустипіе, и довольно смѣлое. Всѣ подхватили его, захохотали, подняли шепотъ удивленія, князь былъ внѣ себя отъ радости. Гости встали изъ-за стола, совершенно примиренные съ m-me de Staël, и поскакали развозить каламбуръ по городу». «Какъ ничтожно — говорить Пушкинъ устами Полины — должно было показаться наше большое общество этой необыкновенной женщины! Она привыкла быть окружена людьми, которые ее понимаютъ, для которыхъ блестящее замѣчаніе, сильное движеніе сердца, вдохновенное слово никогда не потеряны; она привыкла къ увлекательному разговору высшей образованности. А здѣсь... Боже мой! Ни одной мысли, ни одного замѣчанія въ теченіе трехъ часовъ. Тупыя лица, тупая важность... и только! Какъ ей было скучно! Какъ она казалась утомленною! Она увидѣла, чего имъ было ва-

добно, что могли понять эти обезьяны просвѣщенія, и кинула имъ каламбуръ. А они такъ и бросились... Пушкинъ же она вывезетъ о нашей свѣтской черни мнѣніе, котораго она достойна».

Таковы были мнѣнія и самого Пушкина о современномъ ему русскомъ свѣтскомъ обществѣ, которое не даромъ такъ жестоко мстило поэту всѣмъ, чѣмъ могло, и, наконецъ, погубило его своимъ злословіемъ, «сурово, по выраженію Лермонтова, язва славное чело тайными иглами терноваго вѣнца и отравивъ даже его послѣднія мгновенія своимъ коварнымъ шепотомъ»...

Но нашъ эскизъ этого общества, строго нарисованный по самымъ произведеніямъ поэта, былъ бы не полонъ, если бы мы не сказали еще нѣсколькихъ словъ о томъ, какія отношенія этихъ людей къ своему собственному отечеству остановили вниманіе художника. Оставляя въ сторонѣ нѣкоторыя его произведенія, на примѣръ: реторическія «*Клеветникамъ Россіи*», «*Бородинская годовщина*», «*Ко гробу Кутузова*», посмотримъ, не дадутъ-ли его сочиненія хотя нѣсколько чертъ для изображенія русскаго *патріотизма* въ средѣ обыкновенныхъ, не выдающихся, людей, такъ называемаго, образованнаго класса. Чертъ этихъ у Пушкина, конечно, очень мало, такъ какъ о патріотизмѣ, если онъ не носилъ на себѣ торжественнаго, официального, характера, въ ту эпоху говорить было очень трудно; но все же эти черты есть. Такъ, всѣ стремленія изображеннаго у Пушкина общества—стремленія чисто эгоистическія; каждый живетъ только про себя и для себя,

ни малѣйшимъ образомъ не сознавая своей солидарности съ государствомъ, къ которому принадлежитъ, и нисколько не уважая ни закона, ни чужой личности. Троекуровы преспокойно могутъ, подкупивъ чиновниковъ, творить ужаснѣйшія дѣла («Дубровскій»);—гусары, подкупивъ доктора, увозить бѣдныхъ дѣвушекъ («Станціонный смотритель»), драться нагайками, или тайкомъ вѣнчаться съ богатыми невѣстами («Метель»), Онѣгинны—безнаказанно убивать себѣ подобныхъ по всѣмъ правиламъ искусства. Здѣсь господствуетъ одна только сила, но святость закона еще и не чувствуется. Здѣсь нѣтъ даже и службы, такъ какъ дворянство этой службы бѣжить, какъ скоро можетъ безъ нея обойтись,—по крайней мѣрѣ, службы статской, казенной, или частной. Правда, у Пушкина, изображено офицеровъ довольно много, но эти офицеры въ произведеніяхъ поэта какъ-то больше являются героями мазурки, карточной игры, любви, дуэлей и скандаловъ, чѣмъ закаленными въ бояхъ сынами Марса. Даже сама отечественная война, какъ рассказываетъ поэтъ въ «Рославлеви», какъ-то странно, дѣтски, пробуждаетъ это сонное общество. Сначала, когда еще ходили только глухіе слухи о натянутыхъ отношеніяхъ между Россіей и Наполеономъ, заподозрили въ ппiонствѣ Наполеону саму г-жу Сталь, «эту добрую, благородную, г-жу Сталь, десять лѣтъ гонимую Наполеономъ, насилу убѣжавшую подъ покровительство русскаго императора,—эту Сталь, друга Шатобріана и Байрона». Потомъ всѣ заговорили о близкой войнѣ, и «довольно легкомысленно». Вѣсти о нашествіи и воззваніе

государя поразили. «Свѣтскіе балагуры присмирѣли, дамы струхнули. Гостиныя наполнились патріотами: кто высыпалъ изъ табакерки французскій табакъ,—и сталъ нюхать русскій, кто сжегъ десятокъ французскихъ брошюрокъ, кто отказался отъ лафита и принялся за кислыя щи. Всѣ заклились говорить по-французски, всѣ закричали о Пожарскомъ и Мининѣ и стали проповѣдывать народную войну, собираясь на долгихъ отправиться въ саратовскія деревни». «Трусость и патріотическое хвастовство выводили изъ терпѣнія». Правда, когда дѣло приняло уже оборотъ очень серьезный, и пріѣздъ самого государя усугубилъ всеобщее волненіе, «восторгъ патріотизма овладѣлъ наконецъ и высшимъ обществомъ», и стали толковать о пожертвованіяхъ для отечества;—но, даже и въ это критическое время, находились люди, подобные изображенному въ «Рославлевѣ» братцу, для которыхъ «и честь, и отечество — все бездѣлица: братья ихъ умираютъ на полѣ сраженія, а они дурачатся въ гостиныхъ». Этотъ братецъ, на вопросъ, «чѣмъ онъ пожертвуетъ?»—съ цинизмомъ отвѣчаетъ: «У меня всего на все тридцать тысячъ долгу: приношу ихъ въ жертву на алтарь отечества».

Это-ли не «люди—жалкій родъ, достойный слезъ и смѣха?» («Полководецъ»).

III.

Смѣхъ и слезы, какъ мы сейчасъ сказали, вызываютъ въ читателѣ всѣ эти, обрисованные Пушкинымъ,

пошляки и ничтожности, вполне довольные собой и своимъ положеніемъ и, повидимому, не желающіе ничего лучшаго; но, не менѣе, если еще не болѣе, печально положеніе тѣхъ, относительно немногихъ, *мыслимыхъ* людей, которымъ приходится жить въ такой средѣ, сознавая всю ея пошлость и, вмѣстѣ съ тѣмъ, невозможность для себя какой бы то ни было разумной дѣятельности. Говоря о *господахъ*, изображенныхъ поэтомъ, мы съ намѣреніемъ не говорили до сихъ поръ ничего о тѣхъ изъ нихъ, которые по своему уму и развитію стоятъ выше всѣхъ остальныхъ, и которымъ поэтъ сочувствуетъ. Мы нарочно выдѣлимъ теперь личности, болѣе или менѣе, такъ называемыя, *положительныя*, — хотя и онѣ, уже во всякомъ случаѣ, не образцы добродѣтели, не герои, не особенные мыслители, а только обыкновенные неглупые люди, кое-что почитавшіе, кое о чемъ думавшіе, и, при всей своей, относительной, порядочности, все-таки носящіе въ себѣ многіе изъ недостатковъ окружающей ихъ среды. Этихъ людей въ сочиненіяхъ Пушкина очень немного, какъ немного ихъ было и на самомъ дѣлѣ въ русскомъ обществѣ въ печальную эпоху послѣднихъ лѣтъ царствованія Александра I, — и особенно въ послѣдующую, реакціонную. Мы не говоримъ, конечно, о людяхъ выдающихся, крѣпкихъ и сильныхъ (Пушкинъ ихъ и не представлялъ), а только о тѣхъ, которыхъ покойный Авдѣевъ въ известной своей книжкѣ *«Наше общество въ герояхъ и героиняхъ литературы»* называлъ, разбирая «Онѣгина», *средними*.

Такихъ личностей насчитываемъ мы у поэта всего не болѣе четырехъ: кавказскій офицеръ, Алеко, Онѣгинъ и Чарскій. (Ленскаго, о которомъ вскользь уже сказано нами ранѣе, мы изъ этого числа исключаемъ, такъ какъ этотъ герой, обрисованный авторомъ довольно неопредѣленно, умираетъ еще почти мальчикомъ). На эти личности, по преимуществу, было обращено вниманіе нашей критики, и въ статьяхъ Бѣлинскаго (VIII томъ), въ книгѣ Авдѣева и у Добролюбова читатель найдетъ обстоятельное разъясненіе ихъ значенія. Поэтому ограничимся только напоминаніемъ сущности того, что ранѣе уже насъ было высказано другими. Что это за люди, и чѣмъ они отличаются отъ изображеннаго поэтомъ остального общества, нося въ себѣ въ то же время многіе изъ его пороковъ (эгоизмъ, преступленіе подъ вліяніемъ страсти у Алеко, дуэль Онѣгина)? Прежде всего, всѣ эти люди — молодые, здоровые, не только вполне обезпеченные, но даже очень достаточные, какъ Онѣгинъ и Чарскій. Всѣ они — «умные» люди, если и не получившіе основательнаго образованія, то, во всякомъ случаѣ, много читавшіе и размышлявшіе о прочитанномъ и о жизни. Они люди, все-таки, «порядочные, честные»: свое преступленіе и укоръ стараго цыгана Алеко понимаетъ, и едва-ли не сойдетъ съ ума, или не покончитъ самъ съ своею жизнью; Онѣгинъ честно говоритъ Татьянѣ о своемъ отвращеніи къ семейной жизни, и простодушной довѣрчивостью дѣвочки воспользоваться не хочетъ, какъ воспользовался бы ею какой-нибудь офицеръ изъ *«Домика въ Коломнѣ»*, или лове-

ласть — Берестовъ («*Барышня-крестьянка*»). Какъ ни легкомысленно сначала относится Онѣгинъ къ дуэли, но, убивъ пріятеля, чувствуетъ угрызенія совѣсти; аристократическій Чарскій умѣетъ побороть въ себѣ нѣкоторую брезгливость къ итальянцу-импровизатору, и очень энергически устраиваетъ для него вечеръ. Словомъ,—это люди, хоть и не Богъ вѣсть какіе, а все-таки таковы, что вполне могли бы и себя удовлетворить какою-нибудь разумною дѣятельностью, и своему отечеству принести посильную пользу. Такъ оно и бываетъ во всякомъ цивилизованномъ государствѣ; и такіе-то, «срединные», люди, всѣ вмѣстѣ, въ массѣ, общими, посильными, хоть и маленькими, трудами, способствуютъ прогрессу своего отечества. Но не таковы русскіе люди этого рода, выставленные Пушкиннымъ. Всѣ они, при всѣхъ, повидимому, самыхъ благопріятныхъ, условіяхъ для дѣятельности, не дѣлаютъ ровно ничего, не несутъ рѣшительно никакой общественной службы, за исключеніемъ развѣ одного кавказскаго офицера («*Кавказскій пльмникъ*»), раненнаго въ стычкѣ съ горцами. Всѣ они какіе-то совершенно «лишніе» люди, которые ни къ чему не могутъ пристроиться, которымъ противно и пошло окружающее ихъ общество, но которые въ тоже время не только не находятъ для себя никакого дѣла, но даже не могутъ сами хорошенько опредѣлить; чего именно имъ хочется; тяготея такимъ положеніемъ, скучаютъ, хандрятъ, ищутъ развлеченій, въ видѣ любви, путешествій, или, вѣрнѣе, шаланданья безъ всякой опредѣленной цѣли изъ одного мѣста

въ другое, въ видѣ успокоенія на лонѣ природы, среди полудикихъ цыганъ. Всѣ они, эти люди, рано бросились въ вихрь свѣта, «бурной жизнью погубили надежду, радость и желаніе»; очень скоро, «извѣдавъ людей и свѣтъ, узнали цѣну этой невѣрной жизни» и, «наскуча быть жертвою привычной презрѣнной суеты», стали отступниками этого свѣта и покинули, или стремились «покинуть родной предѣлъ». Но видѣ и ни въ чемъ не находили они покоя. Алеко прельщается цыганскою жизнью, гдѣ «все дико, но живо, непокойно, такъ чуждо мертвыхъ нашихъ нѣгъ, такъ чуждо этой жизни празднои». Но и тутъ не нашелъ онъ надежнаго гнѣзда, потому что жизнь создалъ себѣ искусственную. Таковъ же и «кавказскій офицеръ», который даже «безъ упованій, безъ желаній, вьнетъ жертвою» какихъ-то своихъ страстишекъ «и проситъ черкешенку пожалѣть о его скорбной участи». Таковъ и даровитый Чарскій, задыхающійся въ свѣтскомъ обществѣ и не имѣющій даже силъ уйти изъ него. Таковъ, наконецъ, и этотъ Онѣгинъ, которому наскучаетъ и природа, и сельское уединеніе, и безплодное чтеніе хорошихъ книжекъ, и самое путешествіе, гдѣ преслѣдуетъ его та же самая *русская хандра* и невыносимая тоска сознанія своей ненужности, одиночества, страшная тоска жизни, «кипящей въ дѣйстви пустомъ», наконецъ, тоска апатіи, равнодушіе рѣшительно ко всему,—тоска медленной смерти. «И гаснутъ, какъ пламень дымный, забытый средь пустыхъ долинъ», эти юныя, безплодныя и для себя, и для другихъ, силы... Не правда-ли, какіе это странные люди?

И кто, по выраженію Некрасова, не издѣвался надъ ихъ безпредметною тоской, надъ вѣчной скукой Богъ вѣсть съ чего. какъ говорится у насъ, просто съ жиру? «Но глупый смѣхъ къ чему не придирался? Гражданской скорбью наши мудрецы прозвали настроеніе такое. Поверхностной ироніи печать мы очень часто налагаемъ на то, надъ чѣмъ слѣдовало бы призадуматься». «Намъ человекъ, поверженный въ хандру, смѣшонъ тоскою постоянной, и не понимаемъ мы глубокихъ мукъ, которыми болитъ иная душа, внимая ложному звуку жизни и изнывая въ невольной праздности» (Некрасовъ). Изображенные Пушкинымъ люди—именно этого рода и представляютъ весьма знаменательное явленіе русской жизни въ эпоху реакціи. Конечно, созданіе такихъ личностей, какъ «кавказскій офицеръ» и «Алеко», произошло подъ вліяніемъ Байрона и ссылки самого поэта на югъ, но здѣсь, и особенно въ Онѣгинѣ и Чарскомъ, сказалось также и непосредственное вліяніе нашей русской жизни вообще, когда въ эту эпоху была убита и зарождающаяся литература, и юная, едва начавшая лепетать, наука, и всякая умственная жизнь, всякая разумная дѣятельность на пользу государству. О кипучей умственной дѣятельности, о разумномъ воспитаніи, о «службѣ дѣлу, а не лицамъ»,—словомъ, обо всѣхъ прекрасныхъ начинаніяхъ, которыми заявило себя начало царствованія Александра I, не было уже и помину. «Вѣкъ, когда, говорить Чапкій, всякій дышалъ волюйе», уже прошелъ; люди дѣла и серьезной мысли сошли со сцены; насталъ вѣкъ людишекъ, вѣкъ полнаго забвенія всѣхъ добрыхъ

стремлений къ разумной дѣятельности, — словомъ, насталь, какъ говорить Некрасовъ, вотъ какой вѣкъ:

Въ дни юности кутежъ и стеклобитье,
Наука жизни въ зрѣлые года.
 (Которую не въ школахъ европейскихъ—
 Мы черпали въ гостинныхъ и лакейскихъ),
 И наконецъ, завѣтная мечта—
 Почетныя, доходныя мѣста.

Многіе старики еще живо помнятъ это мрачное время;—полюбуемся имъ:

Какъ яблоню качаетъ проходящій,
 Весь занятый минутой настоящей,
 Желаніемъ однимъ руководимъ—
 Набрать плодовъ, и далѣ въ путь пуститься,—
 Такъ русское общественное древо,
 Кто только могъ, направо и налѣво,
 Раскачивалъ, спѣша набить карманъ,
 Не думая о томъ, что будетъ далѣ...
 Мы всѣ тогда жирѣли, наживали...

(Медвѣжья охота).

Выразителями лучшихъ, но все-таки *среднихъ*, людей такого-то вѣка и были эти Чарскіе и Онѣгины. Изнывали они и задыхались въ этой жизни, рѣшительно не зная, чтó съ собой дѣлать, и наконецъ, махнули на все рукой; но отъ этого не стало имъ легче... Такъ, при всей своей молодости, здоровьи, обезпеченности, гибли, плохо подготовленные къ жизни и труду, эти люди, безъ руководителей, безъ чьего-бы то ни было сочувствія,—люди, слывшіе въ обществѣ *чудаками*; гибли они медленной, невидной смертью, а общество, на глазахъ котораго погибали его же собственныя, дацо-

вѣтѣйшія, дѣти, и не подозрѣвало, что безвозвратно лишается лучшихъ своихъ силъ; что эти люди, въ иное, болѣе благопріятное, время, въ массѣ поддерживая и ободря другъ друга, могли бы быть полезными слугами своего отечества, посильными дѣятелями въ наукѣ, искусствѣ и на всякихъ другихъ поприщахъ гражданской жизни. Словомъ, всѣ эти, сначала Алеко, потомъ Онѣгины и Чарскіе, печальные странники, нигдѣ не находящіе себѣ покоя, всѣ эти «москвичи въ гарольдовомъ плащѣ», отъ которыхъ уже не услышишь смѣлыхъ рѣчей Чацкаго—всѣ они—прямое выраженіе той эпохи, когда жизнь русская временно какъ бы замерла, остановилась, да ничего не представляла и впереди, кромѣ туманной дали. Въ такія безцвѣтныя, неопредѣленныя, эпохи, въ которыя, какъ въ храмѣ умирающаго язычества, «боги жить больше не хотятъ, а человѣкъ не смѣетъ», всегда повторяется обычное явленіе со всѣми наиболѣе даровитыми людьми. Одни изъ нихъ бесплодно хандрятъ и тоскуютъ дома, или въ странствіяхъ ради разсѣянія, какъ Онѣгинъ; другіе бросаются въ безумную игру (Пиковая дама), въ поиски за бранной славой или смертью на полѣ битвы, въ развратъ, скандалы, и даже доходятъ до преступленія (Алеко, Германъ, Дубровскій-сынъ). Даже личнаго счастья въ семейной жизни не устраиваютъ себѣ эти люди, сознавая, какъ Онѣгинъ, что семья, и только она одна, безъ всякой общественной дѣятельности, для нихъ величайшая скука и пошлость.

Этихъ-то бѣдныхъ, одинокихъ, странниковъ, этихъ-то

бесплодно бродячихъ, хотъ и небольшихъ, но все-таки силъ, также не забылъ поэтъ,—и да не забудетъ его самого благодарный потомокъ за эту, хотъ и печальную, но правдивую, картину столь знакомой намъ русской хандры, которая въ концѣ-концовъ «овладѣла по-немногу и безпечнымъ повѣсой Онѣгинымъ». До Пушкина герои русской литературы почти исключительно были *ликующіе*, даже страдалецъ Чацкій является торжествующимъ надъ зломъ, героемъ, мечущимъ въ него молніи своихъ громоносныхъ рѣчей; Пушкинъ первый вывелъ на сцену обыкновеннаго *скучающаго*, *лишняго русскаго человека*, въ безсиліи преклоняющаго передъ жизнью свою бѣдную голову.

IV.

РУССКАЯ ЖЕНЩИНА.

«Горе тому дому, гдѣ нѣтъ женщины», говоритъ старикъ Ополевъ въ извѣстной комедіи покойнаго А. И. Пальма «Старый баринъ»; «горе, скажемъ мы, тому обществу, тому государству, гдѣ нѣтъ женщины, которая своимъ вліяніемъ могла бы сдерживать дикіе порывы и грубые нравы мужчинъ, могла бы дѣлать общественную жизнь интереснѣе и человѣчнѣе, могла бы возбуждать и поддерживать въ мужчинѣ стремленія благороднѣйшія. Горе тому обществу, гдѣ нѣтъ матери, нѣтъ жены; гдѣ дѣвушка—товаръ, который или самъ продаетъ себя лицомъ въ замужество, или который везутъ добрые родственники куда-нибудь «на ярмарку невѣстъ»; гдѣ жена немногимъ лучше наложницы, которой нерѣдко измѣняютъ вѣрные «ученики Фоблаза», обученные любви «пакостными романами», и которая и сама «наставляетъ мужу рога; или же—гдѣ жена, въ родѣ старухи Лариной», «замѣнившей счастье привычкой, открываетъ тайну единовластно управлять

глуповатымъ супругомъ, ѣздитъ по работамъ, солить грибы, ведетъ расходы, брѣтъ лбы, ходитъ по суб-ботамъ въ баню, и бьетъ по щекамъ служанокъ»; гдѣ «мать, народивъ дѣтей, не имѣетъ съ ними ни малѣйшей нравственной связи, и, вся преданная или пустому свѣту, или мелочамъ хозяйства и сплетнямъ, совершенно этихъ дѣтей игнорируетъ». Такое горе, какъ мы видимъ изъ сочиненій Пушкина. дѣйствительно было въ современномъ ему русскомъ обществѣ. Хорошей русской женщины, *какъ образа вполне цѣльнаго и законченнаго*, у Пушкина нѣтъ, да и быть не могло, потому что въ двадцатыхъ-тридцатыхъ годахъ ея у насъ почти не было и въ жизни, за немногими, рѣдкими, исключеніями, на которыхъ останавливается, напр., Некрасовъ въ своихъ «Русскихъ женщинахъ» (замѣтьте, что о нихъ стало возможнымъ говорить въ литературѣ уже только въ наши дни);—почти не было, по крайней мѣрѣ, въ томъ высшемъ свѣтскомъ и деревенскомъ обществѣ, въ которомъ Пушкинъ вращался самъ. Да оно и неудивительно при положеніи общества, обрисованномъ нами въ предыдущихъ очеркахъ. Положеніе женщины, ея умственное и нравственное развитіе, ея интересы тѣсно связаны съ развитіемъ и интересами мужчинъ, и особенно съ тѣми требованіями и взглядами на женщину вообще, на жену, на мать, которые въ извѣстное время у этихъ мужчинъ существуютъ. Каково общество самихъ мужчинъ, таковы, если не хуже еще, и женщины, для которыхъ не остается даже небольшой свободы дѣйствій, предоставленной болѣе сильной половиной чело-

вѣческаго рода. Мужчина у Пушкина, по крайней мѣрѣ, все-таки болѣе видить свѣтъ и людей, можетъ путешествовать, бѣжать отъ общества, наконецъ, безнаказанно развлекать себя чѣмъ угодно. И въ самомъ дѣлѣ, если собрать все, что въ разныхъ мѣстахъ своихъ сочиненій говоритъ Пушкинъ о современной ему русской женщинѣ (а говоритъ онъ о ней очень часто и много); если всмотрѣться во всѣ эти, болѣе чѣмъ двадцать, отдѣльные женскіе образы, живьемъ выхваченные изъ этого общества—поразительная и неотразимо грустная выйдетъ картина. Съ какимъ легкимъ, нерѣдко насмѣшливымъ, тономъ говоритъ поэтъ о женщинѣ въ стихахъ своей юности, во всякихъ альбомныхъ мадригальныхъ пьесахъ, воспѣвающихъ почти одну только физическую женскую красоту: «съ какой горечью говоритъ онъ, по словамъ Бѣлинскаго, о нашихъ женщинахъ вездѣ, гдѣ касается общественной мертвенности, холода, чопорности и сухости». На что ужъ, кажется, веселѣе и легкомысленнѣе тонъ первой пѣсни Онѣгина, но посмотрите, что говоритъ поэтъ:

Причудницы большого свѣта!
 Всѣхъ прежде васъ оставилъ онъ,
 Хоть, можетъ быть, иная дама
 Толкуетъ Сея и Бентама,
 Но, вообще, ихъ разговоръ—
 Несносный, хоть невинный, вздоръ.
 Къ тому-жъ, онъ такъ непорочны,
 Такъ величавы, такъ умны,
 Такъ благочестія полны,
 Такъ осмотрительны, такъ точны,

Такъ неприступны для мужчинъ,
 Что видъ ихъ ужъ рождаетъ сплинъ.

Эти строки напоминаютъ Бѣлинскому еще и слѣдующіе стихи изъ того же «Онѣгина», еще рѣзче рисующіе отношеніе Пушкина къ русской женщинѣ, возмущающей его своимъ затворничествомъ. «Умна восточная система, и правъ обычай стариковъ: онѣ родились для гарема, иль для неволи и оковъ». И красота-то у этихъ женщинъ «холодная»: съ ужасомъ читаешь надъ ихъ бровями «надпись ада: оставь надежду навсегда; внушать любовь для нихъ бѣда, пугать людей для нихъ отрада». Онѣ страшныя кокетки, которыхъ «чѣмъ меньше любишь, тѣмъ имъ больше нравишься». А если и полюбятъ онѣ, то какою пошлостью вѣсть отъ этой любви: «кого не утомить угрозы, моленья, клятвы, милый страхъ, записки на шести листахъ, обманы, сплетни, кольца, слезы, надзоры тетокъ, матерей и дружба тяжкая мужей». «И дрожь и злость беретъ, и шевелится эпиграмма въ глубинѣ души, а тутъ еще пиши имъ мадригалы». Блаженъ, конечно, поэтъ, читающій своему предмету стихотворенія; но «пріятно—томная красавица» въ то самое время, какъ онъ, глупый, въ восторгѣ читаетъ вылившееся прямо изъ души произведеніе, «можетъ быть, совсѣмъ инымъ развлечена». «Онѣ не стоятъ ни страстей, ни пѣсенъ ими вдохновенныхъ, слова и взоръ волшебницъ сихъ обманчивы...»: «нечисто въ нихъ воображеніе, не понимаетъ насъ оно, и призракъ Бога—вдохновеніе для нихъ и чуждо, и смѣшно». (Разговоръ книгопрод. съ поэтомъ). А если и полюбить

искренно и простоудушно какая-нибудь простенькая барышня, не въ конецъ испорченная свѣтскимъ воспитаніемъ въ пансіонѣ м-ше Фальбала («Нулинъ»), или руководствомъ французской либо англійской гувернантки, то и эта любовь или очень не прочна:—«недолго женскую любовь печалить хладная разлука, пройдетъ любовь, настанетъ скука, красавица полюбитъ вновь» («Кавк. плѣнн.»); или же эта любовь чрезвычайно легкомысленна: «сердце женское любить шутя» («Цыгане»); а мы-то, «закабалаясь неосторожно, ждемъ себѣ въ награду любовь,—какъ будто требовать возможно отъ мотыльковъ, или отъ лилей и чувствъ глубокихъ, и страстей!»

Такимъ образомъ, эта русская женщина, обрисованная поэтомъ такой пустой и ничтожной, является въ глазахъ цѣлаго общества только игрушкой похоти, хо-рошенькимъ цвѣткомъ, который слѣдуетъ какъ можно скорѣй сорвать и, насладившись имъ, бросить. Таковы отношенія къ женщинамъ и самого Онѣгина въ первой главѣ романа, и офицера въ «Домикѣ въ Коломнѣ», и графа Нулина, и гусара въ «Метели», и Лидина («Нулинъ»), и Берестова въ «Барышнѣ-крестьянкѣ», и Алеко, и отношеніе молодыхъ людей къ Вольской (Отрывокъ «Гости съѣзжались на дачу»);—словомъ, почти только одно такое отношеніе къ женщинѣ и существуетъ въ тѣхъ сочиненіяхъ поэта, гдѣ онъ представляетъ современную ему русскую женщину. Дѣвицы здѣсь—или простенькія барышни (Ольга, дочь Троекурова, барышни въ «Повѣстяхъ Бѣлкина») и велико-

свѣтскія невѣсты, или—противныя, перезрѣлыя, старыя дѣвы («Онѣг.»); дамы—или провинціальныя добродѣтельныя жены и матери, въ родѣ Лариной, или опять-таки великосвѣтскія львицы, неприступныя, какъ Татьяна, либо жуирующія, въ родѣ Venus moscovite (графиня въ «Пиковой дамѣ») и Вольской (отрывокъ «Гости съѣзжались на дачу»).

Въ сторонѣ отъ всѣхъ этихъ и дѣвицъ, и дамъ, стоятъ два невеселые образа: бѣдная Дуня, дочь станціоннаго смотрителя, соблазненная гусаромъ, и Параша («Домикъ въ Коломнѣ»), подвергшаяся той же участи со стороны военнаго Донъ-Жуана. «Не ее первую, эту Дуню, не ее послѣднюю сманилъ проѣзжій повѣса, а тамъ—подержалъ и бросилъ. Много ихъ въ Петербургѣ, молоденькихъ дуръ; сегодня въ атласѣ да бархатѣ, а завтра, поглядишь, метутъ улипы съ голю кабацкой. Поневогѣ пожелаешь ей могилы». По той же обычной дорогѣ, вѣроятно, пошла съ легкой офицерской руки и Параша. Всѣ эти великосвѣтскія и невеликосвѣтскія дѣвицы и дамы, единственнымъ почти средствомъ воспитанія которыхъ являются французскій языкъ да, болѣею частью, нелѣпыя, сентиментальныя или исполненныя всякихъ ужасовъ и небылицъ, романы, какъ мы уже отчасти и видѣли, очерчены поэтомъ съ самой беспощадной сатирой. «Читатели, которые не жилали въ деревнѣ—говоритъ онъ въ «Барышнѣ-крестьянкѣ»—не могутъ себѣ вообразить, что это за прелесть, эти уѣздныя барышни! Воспитанныя на чистомъ воздухѣ, въ тѣни своихъ садовыхъ яблонь, онѣ знаніе свѣта»

жизни почерпають изъ книжекъ», а также, добавимъ мы отъ себя, и изъ разсказовъ дворовыхъ дѣвокъ. И вотъ, въ «Онѣгинѣ» мы видимъ такое обращеніе къ Псковской губерніи: «что можетъ быть, страна святая, несноснѣй барышень твоихъ, плаксивыхъ, скучныхъ, своенравныхъ... Какъ разговоръ ихъ пусть и сухъ, какъ мысли пошлы, стародавни!» Какъ глупы ихъ шутки, какъ жалки пороки, неопрятность, жеманство, и къ тому же еще претензіи на какой-то модный, неуклюжій, этикетъ! Даже всегда, какъ утро, веселая, простодушная, пустынная ничтожность, Ольга кажется передъ ними чуть не совершенствомъ: съ такими милыми, веселыми дѣвицами можно, по крайней мѣрѣ, посмѣяться, поболтать отъ нечего дѣлать, особенно въ деревнѣ, въ долгій зимній вечеръ («Зима... Что дѣлать намъ въ деревнѣ»)... Но не дай Богъ связать себя супружествомъ съ этимъ «милымъ, легкимъ, какъ пухъ, поломъ», потому что, какъ только пройдетъ «восторговъ первый пылъ», и настанетъ обычная, безсодержательная, домашняя семейная жизнь, «мы узримъ въ ней одинъ только рядъ утомительныхъ картинъ», и слава Богу еще, если только «романъ во вкусѣ Лафонтена», а не безконечный рядъ всякихъ семейныхъ сценъ. Такой представляется поэту наша «простая русская семья, въ которой къ гостямъ усердіе большое, варенье, вѣчный разговоръ про дождь, про снѣгъ, про скотный дворъ». И въ самомъ дѣлѣ, во всѣхъ сочиненіяхъ Пушкина семьи хорошей вы не встрѣтите; не увидите ни малѣйшей нравственной связи между мужемъ и женой, между

матерью и дѣтьми: не найдете ни одного случая, гдѣ бы женщина умная, образованная, сколько-нибудь скрашивала собой общество, оживляла разговоръ, вносила въ общество свое благотворное вліяніе. Здѣсь, у этихъ женщинъ, все такъ ужасно пошло, плоско, скучно, даже еще пошлѣе и скучнѣе, чѣмъ у мужчинъ. Русская женщина у Пушкина еще не проснулась отъ своей вѣковой умственной спячки, и если выходитъ изъ неволи, то отдается вся оди́нмъ интрижкамъ, но только тайнымъ, потому что свѣтъ, извиняя то, что дѣлается потихоньку, съ соблюденіемъ необходимаго декораума, «никогда не прощаетъ малѣйшаго уклоненія отъ чопорныхъ приличій». Таково было, если судить по Пушкину, наше женское общество въ изображаемую эпоху, и оно не мало, въ свою очередь, содѣйствовало одичалости и грубости въ мысляхъ и чувствахъ нашихъ мужчинъ.

Но были однако и у Пушкина порывы изобразить хорошую русскую женщину. Среди длинной вереницы ничтожностей находимъ мы двѣ очень свѣтлыя женскія личности. Одна изъ нихъ—бѣдная Татьяна, взятая прямо изъ деревенской глуши, выросшая на сказкахъ няни, деревенскихъ пѣсняхъ да романахъ, своеобразно подѣйствовавшихъ на ея впечатлительную, воспримчивую, богатую натуру; другая—Полина—княжеская дочь, великосвѣтская дѣвица, съумѣвшая какъ-то, тоже безъ руководителей и постороннихъ вліяній, при самомъ безтолковомъ сбродѣ книгъ въ библіотекѣ своего отца, развить себя чтеніемъ и сдѣлаться умной и прекрасной

единственной образованной, истинно любящей свое отечество женщиною, на которой могло остановиться вниманіе знаменитой Сталь, одной изъ образованнѣйшихъ женщинъ вѣка («Рославлевъ»). Но какая печальная и почти одинаковая участь постигаетъ оба эти отрадныхъ исключенія! Обѣ эти женщины, въ концѣ-концовъ, вполнѣ расстаются съ своими мечтами и стремленіями и становятся обыкновенными великосвѣтскими дамами, женами пошляковъ-мужей. Рассказываютъ, что, когда Пушкинъ напечаталъ еще только первыя главы Онѣгина, къ нему обратилась княгиня Голицына съ вопросомъ: «Что вы думаете сдѣлать съ Татьяной? Умоляю васъ, устройте хорошенько ея участь». — «Будьте покойны, княгиня — отвѣчалъ поэтъ — я выдамъ ее замужъ за генералъ-адъютанта» («Русск. Арх.», 1873, т. 1.073). Пушкинъ сдержалъ слово. Его блѣднолицая мечтательница, искавшая идеала лучшаго, чѣмъ могли представить ей собою всякіе деревенскіе полуидіоты, — эта Татьяна, эта чудная дѣвушка, никѣмъ, даже Онѣгинымъ, непонятая, которая совершенно одна, изнемогая разсудкомъ, переносила свое горе и едва совсѣмъ не погибла молча и незамѣтно ни для кого; — эта первая въ нашей литературѣ симпатичная дѣвушка, прототипъ тургеневской Елены, — эта бѣдная Таня вышла замужъ за генерала, «всѣхъ выше поднимавшаго ность и плечи», и, задавивъ въ себѣ человѣческія стремленія, стала «вѣрною супругою» нелюбимаго, но очень виднаго по положенію, человѣка. Эта Полина, нашедшая въ себѣ довольно смѣлости, чтобы громко возмущаться равнодушіемъ общества къ своей

родинѣ и, несмотря на насмѣшки окружающихъ, заявлять о томъ, что женщина также должна любить отечество и принимать участіе въ дѣлахъ своихъ братьевъ, отцовъ, мужей и дѣтей,—эта самая Полина, въ концѣ-концовъ, также выходитъ замужъ за того самаго «повѣсу-братца», который приносилъ на алтарь отечеству свои 30.000 долгу, и поступками котораго сама такъ возмущалась. Иначе, впрочемъ, не могло и быть. Въ ту мрачную эпоху, если и выдавались порой такія личности, какъ Татьяна или Полина, то эти личности должны были или кончать такъ, какъ онѣ кончили, или умирать. Если бы женщина того времени и того общества вздумала устраивать свою жизнь самостоятельно, на свой образецъ, отдаваясь честно и прямо влеченіямъ своего сердца, это общество забросало бы ее грязью хуже, чѣмъ нынѣшнюю Анну Каренину. Не даромъ Пушкину такъ унижительно и подробно пришлось оправдывать свою Татьяну въ недобдуманной посылкѣ письма. Такія женщины въ нашемъ обществѣ были тогда еще рѣдкимъ исключеніемъ, и велика заслуга поэта въ томъ, что онъ не пропустилъ и этихъ свѣтлыхъ точекъ на темномъ фонѣ своей картины общественной жизни. Характеровъ же цѣльныхъ, женщинъ идеальныхъ, поневолѣ приходилось поэтамъ искать на Кавказѣ между черкешенками, между невольницами какого-нибудь Гирея, у цыганъ, въ древней Руси (Русалка, Полтава),—всюду, только не въ русскомъ обществѣ. То же видимъ позже и у Лермонтова (Бэла, Тамара); а у Гоголя, когда онъ хотѣлъ создать чудную русскую дѣву, вышла только безцвѣтная Уленька.

Женщина, выставленная Пушкинымъ, еще безотраднѣе его мужскихъ портретовъ.

Этимъ небольшимъ этюдомъ современной Пушкину русской женщины среднего и высшего круга мы кончаемъ наши очерки, цѣль которыхъ, какъ мы говорили и ранѣе, очень скромная. Оставивъ въ сторонѣ весьма значительную часть произведеній поэта, которыя даютъ матеріалъ для выводовъ эстетическихъ, мы остановились только на тѣхъ, по которымъ можно познакомиться съ *русскою современною* поэту жизнью. Картина наша вышла очень печальная. Поэтъ, начавшій свою поэтическую дѣятельность свѣтлыми анакреонтическими пѣснями радости, очень скоро открываетъ въ себѣ элегическую ноту, звучащую все печальнѣе и печальнѣе, по мѣрѣ того, какъ онъ самъ становится старше и опытнѣе, а вокругъ него все болѣе и болѣе грозно «глядѣла судьба», и «часъ отъ часу рѣдѣлъ кругъ» честныхъ, мыслящихъ людей, а оставшіеся въ живыхъ и на свободѣ, «невидимо склоняясь и хладѣя, близились къ началу своему», т.-е. къ покою небытія (19 окт. 1825). И хоть и говоритъ поэтъ, что «въ надеждѣ добра глядитъ впередъ безъ боязни» и проситъ читателя «не печалиться и не сердиться, если обманетъ жизнь»; но гнетущая тоска и раздумье видятся и въ этомъ Онѣгинѣ, и во многихъ лирическихъ пьесахъ, и даже отчасти и въ повѣстяхъ, гдѣ изображается пустое, холодное, сонное общество. У Грибоѣдова въ

1823 г. еще раздается громовая рѣчь Чацкого, котораго общество боится и ведетъ противъ него борьбу за существованіе своего status quo. Многіе изъ этого самаго общества вдругъ бросаютъ службу, когда имъ слѣдовалъ чинъ, и предаются занятіямъ наукой, какъ братъ Скалозуба, или какой-то князь-химикъ и ботаникъ; въ англійскомъ клубѣ громко ведутся какія-то пренія о матеріяхъ важныхъ; — у Пушкина это общество только «вянеть и молчитъ». Оно убито, подавлено, какъ это и было на самомъ дѣлѣ въ мрачный періодъ 1825—1837 года. Правдивымъ выразителемъ этого-то именно историческаго момента и былъ Пушкинъ, проникательнымъ умомъ художника съумѣвшій уловить преобладающій характеръ современности. Первому истинно русскому народному художнику, преимущественно склонному къ изображенію прекраснаго и высокаго, пришлось быть и живописцемъ пошлости, апатіи и невѣжества, среди котораго онъ самъ жилъ и отъ чего не мало терпѣлъ. Онъ художественно понялъ историческій моментъ, самъ во многомъ неся на себѣ его вредныя вліянія, и, не упреждая времени, былъ вѣрнымъ его выразителемъ и живописцемъ. Не его вина, что картины и образы русскаго общества вышли такіе жалкіе, блѣдные, безсодержательные. Таковы были тогда въ огромномъ большинствѣ и сами люди, а поэтъ исключеній не бралъ. Вотъ почему, можетъ быть, и не совсѣмъ сочувствуетъ Пушкину современная намъ молодежь, которая, какъ и всякая молодежь вообще, любитъ лица яркія, характеры сильные, въ родѣ ка-

ракторовъ у Байрона, Шиллера, и даже нашего Демонтова — любимыхъ поэтовъ юности; любить вѣдкія стрѣлы ожесточенной сатиры, въ родѣ Некрасова, чего у Пушкина, всегда искавшаго въ жизни болѣе или менѣе примиренія, не было. Однако, при всемъ томъ, сильныя сатирическія ноты слышатся, по временамъ, и у него, напр., въ послѣднихъ пѣсняхъ «Онѣгина», въ «Капризѣ», «Уединеніи», «Полководцѣ», и даже тамъ, гдѣ всего менѣе, при аристократическихъ предразсудкахъ самаго автора, можно было бы ожидать, напр., въ извѣстной «Родословной моего героя», въ которой поэтъ остроумно шутитъ надъ предками Езерскаго: Варлаамомъ, съ безчестьемъ выводимымъ изъ-за царской трапезы, или Митюшкой-цѣловальникомъ. Намъ, потомкамъ, было бы очень странно говорить еще о гражданскихъ убѣжденіяхъ поэта, спорить о томъ, былъ-ли онъ консерваторомъ или либераломъ; слава Богу, что онъ, при всѣхъ неблагоприятныхъ условіяхъ своего воспитанія и жизни, былъ настолько уменъ и геніаленъ, что самъ не «ожесточился, не очерствѣлъ, не окаменѣлъ», не погрязъ, погубивъ свой талантъ въ грязной тинѣ этого общества, которое онъ такъ художественно изобразилъ въ своихъ сочиненіяхъ и тѣмъ оказалъ неоцѣненную услугу отечеству въ смыслѣ пробужденія въ немъ общественнаго сознанія. По самымъ условіямъ русской жизни, первый русскій художникъ долженъ былъ выйти въ значительной степени именно сатирикомъ, и въ то же время художникомъ, стоящимъ, такъ сказать, вѣкъ своей современности. Пушкинъ и

быть и тѣмъ, и другимъ. Своими объективными произведеніями, изъ русской исторіи, надринѣртъ, и иностранной жизни, онъ далъ русской литературѣ прочное начало эстетическое вообще, безъ котораго литература немислима; своими картинками и образами именно изъ современной русской жизни, на которые указать и было нашею единственною задачею, онъ даетъ этой литературѣ новое, небывалое въ ней, содержаніе—изображеніе обыденной, простой, неукрашенной кудравы вымыслъ, *правды*. Художественнымъ изображеніемъ этой-то правды онъ окончательно и навсегда убиваетъ въ нашей литературѣ выспренній, высокопарный, тоитъ напускнаго восторга и паренія и всѣмъ надѣвшее тоскливое элегическое кукованье болѣзненной романтики, со всѣми ея мистическими прикрасами и обстановкой, наводящей на душу безплодный страхъ. Ни полуофициальная ода съ трескучими фразами, ни томная элегія съ воздыханіями «по ней», съ неопредѣленными стремленіями отъ земли «куда-то», «вдаль», «къ чему-то», чего и самъ писатель хорошенько не разумѣетъ, ни баллада съ мертвецами и привидѣніями, ни русскій романъ съ испанскими правами и африканскими страстями послѣ Пушкина уже немислимы. Но зато только съ Пушкина, и очень скоро послѣ него, даже отчасти при немъ самомъ, явились истинные русскіе художники, начавшіе знакомить насъ съ русскою дѣйствительностью. Изображеніе Пушкинымъ русской природы, деревень, дорогъ и городовъ, а также пошлости общества, породило изображеніе этихъ же предметовъ у Гоголя; жизнь

крестьянина, какъ мы видѣли, затронутая поэтомъ довольно значительно, нашла себѣ болѣе полное выраженіе въ «Запискахъ охотника», у Григоровича, и, наконецъ, въ простонародныхъ многочисленныхъ писателяхъ позднѣйшаго времени. Онѣгинъ породилъ Тенетникова и, издѣе, Обломова; Татьяна выродилась въ тургеневскую Елену; «Капитанская дочка» послужила прототипомъ новѣйшаго русскаго романа, какъ «Серебряный», «Мировичъ», романы графа Салыса, «Война и Миръ». Даже наименѣе живые, въ смыслѣ жизненности содержанія, стороны Пушкинской поэзіи, его безотносительныя анакреонтическія и антологическія произведенія, особенно стихотворенія, воспѣвающія любовь и физическую красоту женщины,—даже и эти вещи, на которые слѣдуетъ смотрѣть только какъ на прихоть, отдыхъ отъ другихъ, болѣе важныхъ, трудовъ великаго поэта, породили цѣлую длинную вереницу подражателей, такъ называемыхъ, эстетиковъ искусства для искусства, надъ которыми такъ зло издѣвалась критика конца пятидесятихъ и шестидесятихъ годовъ, убившая ихъ значеніе своими остроумными пародіями.

Такимъ образомъ, Пушкинъ, которому въ 1880 г. воздвигла въ Москвѣ памятникъ благодарная, мыслящая, Россія, вполне заслуживаетъ имени основателя всей настоящей русской литературы, которая только съ него становится самостоятельной и все болѣе и болѣе крѣпущей силой, ждущей только расширенія своихъ рамокъ, чтобы еще болѣе благотворно служить идеямъ добра, правды и истиннаго человѣческаго и національ-

наго просвѣщенія. Память Пушкина для насъ священна тѣмъ болѣе, что онъ жилъ и дѣйствовалъ въ самую тяжелую, мрачную, эпоху нашей исторической жизни, и хотя и погибъ такъ рановременно изъ-за гнусной интриги своихъ же соотечественниковъ, но все-таки сумѣлъ до конца сохранить свое человѣческое достоинство и любовь къ своей родинѣ, и успѣлъ, несмотря на всѣ препятствія, заключавшіяся и въ немъ самомъ, и внѣ его, оставить по себѣ правдивую, печальную, дѣтопись своей современности и заложить прочный фундаментъ всей послѣдующей литературѣ. Пушкинъ, какъ и поэтъ въ его извѣстномъ стихотвореніи, «жилъ одинъ, не обращая вниманія на толкъ глупца и смѣхъ толпы холодной, и твердо шелъ своею дорогою туда, куда влекъ его свободный умъ, усовершенствуя плоды любимыхъ думъ, не требуя отъ этой толпы награды за благородный подвигъ». Великая и разнообразная дѣятельность Пушкина, равно какъ и самая его личность, почти одиноко, какъ островъ на безбрежномъ океанѣ, какъ оазисъ въ бесплодной песчаной пустынѣ, грандіозно высится надъ плоскимъ уровнемъ печальной жизни конца двадцатыхъ и тридцатыхъ годовъ; и невольно приходятъ въ голову слова другого, позднѣйшаго изъ порожденныхъ имъ же, Пушкинымъ, поэта, Некрасова:

Мудреными путями Богъ ведетъ
Тебя, многострадальная Россія!
Попробуй, усомнись въ твоихъ богатыряхъ
Доисторическаго вѣка,
Когда и въ наши дни выносятъ на плечахъ
Все поколѣнья два-три человѣка!

К о н е ц ъ .

Въ книжныхъ магазинахъ **Карбасникова** (Петербургъ, Лт., 46; Москва, Моховая, д. Бѣха), **«Новаго Времени»**, **Луковникова** (Пет., Лештуковъ пер. 2), **К. И. Тихомирова** (Москва, Кузн. мость), **Глазунова**, **«Складъ книгъ»**, **Д. И. Тихомирова** (Москва, Тверская, д. Гаршиана), кн. маг. **М. М. Ледеpine** (Петербургъ, Невскій, 42).

ПРОДАЮТСЯ КНИГИ ВИКТОРА ОСТРОГОРСКОГО:

- 1) Изъ міра великихъ преданій. Разказы для юношества съ рисунками Палева и Бившенко. Изд. 6-е. М. 1896 г. Ц. 1 р., въ пер. 1 р. 25 к.
- 2) Изъ народнаго быта. Разказы изъ пословицъ, поговорокъ и пѣсенъ; Титъ, Вавило, Маланья и Маша на дѣвичникѣ. Изд. 3-е. М. 1892 г. Ц. 20 к.
- 3) Илья Муромецъ—крестьянскій сынъ, разказано по народнымъ былинамъ. Спб. 1892 г. Ц. 10 коп.
- 4) Хорошіе люди. Сборникъ разск. съ рисунками Шпака и Малышева. Спб. Ц. 1 р. 50 к.
- 5) Этюды русскихъ писателей: I. И. А. Гончаровъ. М. 1887 г. Ц. 75 к.—II. Н. Г. Помяловскій. Ц. 40 к.—III. М. Ю. Лермонтовъ. Мотивы Лермонтовской поэзіи. 1891 г. Ц. 50 к.—IV. Художникъ русской пѣсни А. В. Кольцовъ. 1893 г. Ц. 50 к.
- 6) Русскіе педагогическіе дѣтели: Н. М. Пироговъ, К. Д. Ушинскій и Н. А. Корфъ. М. 1887 г. Ц. 75 к.
- 7) Руководство къ чтенію поэтическихъ произведеній, Л. Эккардта съ прил. «Краткаго учебника теоріи поэзіи». Изд. 2-е. Одобрено У. К. М. Н. П., какъ руковод. Спб. 1877 г. Ц. 1 р. (готовится новое изданіе переработанное).
- 8) Бесѣды о преподаваніи словесности. Изд. 2-е. М. 1886 г. Ц. 80 к.
- 9) Выразительное чтеніе. Изд. 3-е. М. 1893 г. Ц. 50 к.
- 10) Русскіе писатели, какъ восп.-образов. матерьялъ для занятій съ дѣтьми и для чтенія на роду. (Жуковскій, Батюшковъ, Крыловъ, Пушкинъ, Веневитиновъ, Баратынскій, Языковъ, Лермонтовъ, Майковъ, Мей, Плещеевъ, Кольцовъ, Никитинъ, Некрасовъ, Шевченко, Гоголь, Григорovichъ, Тургеневъ, Гончаровъ, Гр. Л. Толстой, Погосскій). Изд. 3-е. Спб. 1891 г. Ц. 1 р. 50 к.

11) Родные поэты, для чтенія въ классѣ и дома. Сборникъ стихотворныхъ произв. для юношества, указанныхъ въ книгѣ В. Острогорскаго Русскіе писатели (Жуковский, Батюшковъ, Крыловъ, Пушкинъ, Веневитиновъ, Баратынский, Языковъ, Лермонтовъ, Майковъ, Мей, Плещеевъ, Бояльцовъ, Никитинъ, Шевченко, Некрасовъ). Изд. 2-е. М. 1894 г. Ц. 1 р. 50 к.

12) Двадцать біографій образцовыхъ русскихъ писателей для юношества, съ 20-ю портретами. Изд. 4-е. Ц. 50 к.

13) Наталья Борисовна Долгорукова. Ц. 10 к.

14) Изъ дальняго прошлаго. Драматическіе эскизы. (Мгла, др. въ 5 д; Ляпочка, ком. въ 3 дѣйств. съ прологомъ; сцены: На одиѣхъ сѣняхъ. Первый шагъ; Въ бель-этажѣ на улицу). Изд. М. М. Ледерле, Спб. 1891 года. Ц. 80 к.

15) С. Г. Аксаковъ. Критико-біографическій очеркъ. Изд. П. Г. Мартынова. Спб. 1891 г. Ц. 75 к.

16) Моя бібліотека. Ж. Б. Мольтеръ. Мѣщанинъ въ дворянствѣ, пер. В. П. Острогорскаго, съ предисловіемъ переводчика. Изд. М. М. Ледерле. Спб. 1893 г. Ц. 50 к.

17) Письма объ эстетическомъ воспитаніи. Изд. 2 журнала «Міръ Божій». 1896 г. М. Ц. 40 к.

18) Очерки пушкинской Руси. Изд. 2 журн. «Міръ Божій». Спб. 1896 г.

19) Изъ исторіи моего учительства. Какъ я сдѣлался учителемъ. 1851—1864 гг.). Изданіе О. Н. Поповой, цѣна 1 р. 25 к. (стр. X + 293).

СОДЕРЖАНІЕ: I. Гимназія. Поступленіе въ гимназію. Домашняя подготовка.—Попечитель Мусинъ-Пушкинъ.—Переходъ въ III гимназію.—Ея характеръ.—Директоръ Ѳ. И. Вуссе.—Классическій характеръ гимназіи.—Г. И. Лаппинъ.—Учитель греческаго языка.—Постановка языковъ новыхъ и исторіи.—Русскій языкъ въ младшихъ классахъ.—В. Я. Стоунинъ.—Послѣдній годъ пребыванія въ гимназіи (1857—1858 гг.).—Выпускъ 1858 г.—Общій выводъ о гимназическомъ образованіи. II. Университетская наука. Общія замѣчанія о Петербургскомъ университетѣ конца пятидесятыхъ и начала шестидесятыхъ годовъ.—Характеръ преподаванія.—Характеристики профессоровъ: М. М. Стасюлевичъ, М. С. Куторга, Н. И. Костомаровъ, Н. М. Благовѣщенскій, А. В. Никитенко, И. И. Срезневскій, А. Н. Пыпинъ.—Благодарная память университету. III. Ученіе

ситетскій кружокъ. Экономическое положеніе студентовъ.—«Мыслящій пролетаріатъ».—Мое вступленіе въ кружокъ.—Характеръ кружка.—Характеристика нѣкоторыхъ изъ его членовъ.—Вліяніе на меня Бѣлинскаго, Пирогова и «Современника».—Увлеченіе театромъ и итальянской оперой.—Вліяніе на меня моего дяди. IV. Василеостровская школа. Неудовлетворенность нашего кружка «разговорной дѣятельностью».—Критикъ и скептикъ кружка Н. Н. Страннолюбскій.—Таврическая школа.—Возникновеніе объ учрежденіи своей школы.—Участіе К. Д. Кавелина въ осуществленіи этой мысли.—Подготовительныя собранія передъ учрежденіемъ школы.—В. И. Струбинскій и Н. М. Пальминъ.—Открытіе школы и неопредѣленный ея характеръ. V. **Ө. Ө. Резенеръ**. Появленіе его въ школъ.—Біографическія о немъ свѣдѣнія.—Роль его на нашихъ собраніяхъ.—Оживленіе послѣднихъ.—Вступленіе въ школу А. Я. Герда.—Отношеніе Резенера къ школъ и дѣтямъ.—Отношеніе его къ намъ, студентамъ.—Воспоминанія о Резенерѣ его бывшихъ учениковъ: покойнаго художника В. С. Шпака и инженера В. В. Оглобина.—Закрытіе Василеостровскаго училища.—Дѣятельность Резенера въ качествѣ воспитателя въ «Колоніи малолѣтнихъ преступниковъ».—Послѣдніе годы его жизни.—Воспоминанія о Резенерѣ, какъ о воспитателѣ въ семействахъ.—Смерть. VI. Переходный періодъ 1862—1864 гг. Частные уроки: сенаторскіе; у А. К. Гирса и В. Н. Латкина. Мои занятія для подготовки къ урокамъ и учительской дѣятельности вообще.—Увлеченіе народной литературой.—П. И. Якушкинъ и Ф. Г. Толль.—Двѣ мои первыя взрослые ученицы.—Первый опытъ официальной педагогической дѣятельности: пансіонъ В. В. Швидковской.—Попытки поступить на государственную службу: А. С. Вороновъ и директриса Смольнаго института Леонтьева.—Журнальная дѣятельность въ «Библіотекѣ для чтенія» П. Д. Боборыкина.—Устройство библіотеки В. К. Макалинской и приглашеніе меня учителемъ въ 1864 г. въ I военную гимназію. VII. Тридцать лѣтъ назадъ (1864 г.)—общій очеркъ тогдашней педагогической жизни.



PG 3356 .N4 1899

Idealy Pushkina /

C.1

Stanford University Libraries



3 6105 039 816 694

DATE DUE			

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

